

Жан Жорес

ИСТОРИЯ КОНВЕНТА

Из истории Великой французской революции

2-е издание

сокращенный перевод В.Левицкого под ред. Ф.Дана

М.-Пг.: Книга. 1923

Веб-публикация: Vive Liberta, 2013

Фелло Ильич Гунвич (псевдоним Лан)

19.10.1871, Петербург, – 22.01.1947, Нью-Йорк

врач, революционер (меньшевик), государственный деятель, публицист. Муж сестры Ю.О.Мартова.

Владимир Иосифович (Осипович) Цедербаум (псевдоним Левицкий)

28.02.1883, Петербург, – 22.02.1938, Уфа

революционер (меньшевик), публицист. Младший брат Ю.О.Мартова

Материалы о Жане Жоресе и ссылки на его работы в сети:

<http://vive-liberta.narod.ru/ref/ref1.htm#ijnr>

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. От 10 августа до 21 сентября

II. Республика

III. Затруднения и раздоры

IV. Казнь короля и падение Жиронды

V. Социальные идеи Конвента и революционное правительство

Некоторые тематически связанные материалы

(в нашей библиотеке http://vive-liberta.narod.ru/biblio/biblio_1.htm)

«ОТЕЧЕСТВО В ОПАСНОСТИ»: 1791-92 гг. (подборка документов о событиях, предшествующих восстанию 10 августа и установлению Первой республики)

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ВОПРОС: 1792-94 гг. (подборка документов)

ФРАКЦИОННАЯ БОРЬБА: 1793-94 гг. (подборка документов)

К.Беркова. Процесс Людовика XVI (полный документальный материал на рус.яз.)

Ц.Фридлянд. Ж.-П.Марат и гражданская война XVIII в.

Дискуссия о жирондистах

А.Гордон. Падение жирондистов

Г.Кунов. Борьба классов и партий

Педагогические идеи Великой французской революции: речи и доклады Мирабо,

Талейрана, Кондорсе, Лавуазье и др.

М.Славин. Эбертисты под ножом гильотины (эту книгу стоит посмотреть, поскольку у Ж.Жореса отношение к «эбертистам» предвзятое)

А.Олар. Христианство и Великая французская революция 1789-1802

А.Олар. Культ Разума и Верховного существа во время Великой французской революции

А.Олар. Церковь и государство в эпоху Великой французской революции

Ф.Маутнер. Атеизм в эпоху Великой французской революции

А.Матьез. Борьба с дороговизной и социальное движение в эпоху террора

А.Матьез. Как побеждала Великая французская революция

А.Собуль. Первая республика (1792-1804 гг.)

I. От 10-го августа до 21-го сентября.

Народное восстание 10-го августа 1792 года, руководимое вожаками и ораторами парижских предместий, привело к фактической отмене королевской власти. Законодательное Собрание, большинство в котором составляла партия жирондистов и которое до 10-го августа не решалось идти на открытый разрыв с монархией, теперь под давлением восставшего народа постановило отрешить временно Людовика XVI от власти, передав исполнительную власть в руки Совета министров и созвав для решения вопроса о форме правления на 21-е сентября *Национальный Конвент* — собрание народных представителей, избранное на основе всеобщей подачи голосов.

В период между восстанием 10-го августа и созывом Конвента на авансцену политической жизни выдвигается новый орган — *Парижская Коммуна*, непосредственно вышедшая из народного восстания и благодаря руководству им в дни, когда Парижем владела улица, присвоившая себе некоторые функции центральной власти. Парижская Коммуна, сформировавшаяся явочным порядком в ночь с 9-го на 10-е августа посредством выбора восставшим народом своих представителей по секциям (кварталам) Парижа, устранила с поста законную городскую власть — парижский муниципалитет, состоявший в большинстве из приверженцев жирондистов, и его выборных должностных лиц и стала на его место.

Законодательное Собрание, вынужденное признать совершенный переворот и санкционировать восстание, в первое время после 10-го августа не могло не считаться с Коммуной, — органом этого восстания, — поддерживаемой парижскими предместьями. Коммуна же, пополнив свой состав представителями крайней революционной демократии, в том числе Робеспьером и Маратом, и получив благодаря этому защитников как в якобинском

клубе¹⁾ и в печати („Друг Народа“ Марата), так и в стенах самого Законодательного Собрания, стала претендовать на господство над всей революционной Францией. На этой почве разыгрался ее конфликт с Законодательным Собранием.

Особенно горячего защитника Коммуна нашла в лице Марата, который на страницах своего органа со свойственной ему резкостью и решительностью отстаивал права Коммуны в области наблюдения за деятельностью не только министров и Законодательного Собрания, но и будущего Конвента, восхвалял ее, как орган восставшего народа, свергнувшего тиранию и разрушившего козни контр-революционеров. Вместе с тем Марат призывал Коммуну принять меры против недостаточно искренних „патриотов“ (т.-е. революционеров), требуя самых энергичных мер против иноземных и отечественных контр-революционеров, вплоть до объявления заложниками короля и его семьи и расправы с арестованными 10-го августа защитниками королевской власти.

Первым вопросом, вызвавшим столкновение между Коммуной и Законодательным Собранием, был вопрос о законности ее полномочий. Опасаясь в лице Коммуны возможного конкурента на политическую власть, жирондисты уже 11-го августа, т.-е. на следующий день после восстания, провели в Законодательном Собрании постановление о назначении выборов новой директории Парижского департамента, которая, по их предположению, могла бы составить противовес самочинно образовавшейся Коммуне. Постановление это вызвало решительный протест как в клубе якобинцев, так и со стороны Коммуны. Последняя в знак протеста отправила в собрание делегацию, от лица которой выступил Робеспьер. В своей речи он требовал отмены постановления о директории, отстаивая суверенные права Коммуны. „Народ, оказавшийся вынужденным взять на себя заботу о своем спасении,— говорил он,— добился своей безопасности благодаря

своим выборным. Если приходится принимать самые энергичные меры для спасения государства, то надо, чтобы те, кого народ сам избрал в качестве должностных лиц, обладали всей полнотой власти, подобающей суверену. Если вы создадите другую власть, которая будет господствовать или колебать авторитет непосредственных избранников народа, последний перестанет быть единым, и в механизме вашего управления возникнут семена вечных раздоров, которые вселят во врагов свободы гибельные для нас надежды. Чтобы освободиться от этой власти, подрывающей его суверенитет, народу еще раз придется вооружиться во имя отщепенца. В проектируемом новом органе народ видит создание между вами и им высшей власти, которая, как и раньше, будет только мешать поступательному движению Коммуны. После того, как народ спас родину, после того, как вы постановили созвать Национальный Конвент, который должен заместить вас самих,— как можете вы противиться желаниям народа?...”

Законодательное Собрание, смущенное решительным языком Коммуны, заколебалось и видоизменило свое первоначальное постановление в том смысле, что директор Парижского департамента будет пользоваться правом контроля над Коммуной только в финансовых вопросах. Но допустив даже такую уступку, оно санкционировало Коммуну и развязало ей руки для вмешательства в функции исполнительной власти. Окрыленная успехом, Коммуна начала действовать. И прежде всего—в области полицейских и репрессивных мер. Она постановляет перевести Людовика XVI и его семью из дворца в крепость Тампль, закрывает целый ряд роялистских и конституционалистских газет, как „контр-революционные“, запрещает почтамту рассылать подобные издания и держать на службе чиновников, недостаточно преданных революции, распределяет типографии между патристически настроенными издателями, словом, совершает первые покушения на свободу печати. Уступив уже один раз натиску Коммуны, не имея поддержки среди парижского населения и опасаясь обвинений в попустительстве контр-революции в момент, когда неприятельские войска стояли у границ Франции, жирондисты провели в Законодательном Собрании резолюцию, которая выражала одобрение принятым Коммуной мерам. Это

¹⁾ Клуб якобинцев — политическое общество, игравшее видную роль в революционных событиях, начиная с первых месяцев революции. Первоначально руководящую роль в нем играли умеренные конституционалисты, и лишь постепенно он стал средоточием политического влияния демократов и республиканцев.

побудило Коммуну только к новым шагам в том же направлении. Она распорядилась об аресте целого ряда „подозрительных“ лиц, в том числе некоторых членов Учредительного Собрания — конституционалистов (например, Дюпора и Дюпон-де-Немура), запретила частным лицам выезд из Парижа, чтобы помешать распространению контр-революционных идей по Франции, и обязала подпиской владельцев домов и хозяев квартир сообщать о всех живущих у них лицах. Наряду с мерами полицейского характера Коммуна предприняла и ряд шагов по военной обороне Парижа: рытье окопов, организацию 48 секциями вооруженных отрядов для защиты отечества, уничтожение в армии оскорбляющих чувство равенства знаков отличия и т. д. Постановления Коммуны, запрещающие религиозные процессии и другие проявления религиозного культа, носили настолько решительный антиклерикальный (враждебный церкви) характер, что смутили многих из сторонников Коммуны, из числа якобинцев, которым стало казаться, что в своем радикализме последняя заходит чересчур далеко.

Другим поводом к трениям между Коммуной и Законодательным Собранием был вопрос о суде над содержащимися в тюрьмах лицами, арестованными 10-го августа и обвиняемыми народной молвой в стрельбе по народу, бравшему приступом Тюльерийский дворец. Собрание и здесь обнаружило большие колебания и медлительность, то откладывая решение этого вопроса, то постановляя образовать комиссию для расследования преступлений и специальные военные суды для их рассмотрения, но не приводя в исполнение этих постановлений. А между тем народ, поощряемый агитаторами, требовавшими примерного наказания виновных, и волнуемый известиями о приближении к Парижу неприятеля, нервничал и сочувственно внимал призывам к самосудам в случае, если Собрание будет медлить. И в этом вопросе, как и в вопросе о департаментской директории, представителем Коммуны пред Законодательным Собранием выступил Робеспьер, от ее имени потребовавший немедленного и беспощадного суда над арестованными. Полученные в этот момент сообщения о вступлении войск монархической коалиции на территорию Франции и производимых ими насилиях над мирными жителями сильно подогрели настроение, и Законодательное

Собрание, отвергнув предложение депутата Мерлэна о том, чтобы жены и дети монархистов, эмигрировавших за границу для присоединения к стану контр-революции, были арестованы в качестве заложников, приняло все-таки смягченную формулировку того же предложения, ограничивающуюся заключением их под домашний арест. Парижская Коммуна, обсудив тот же вопрос, постановила 19-го августа принять формулировку Мерлэна о заложниках.

Медлительность Законодательного Собрания в вопросе о наказании виновных вызвала угрозы со стороны Коммуны. Ее делегат в заседании его 17-го августа произнес следующие страшные слова, предвещавшие сентябрьскую резню: „Если бы тиран оказался победителем, в столице уже было бы воздвигнуто более тысячи эшафотов, и более трех тысяч граждан заплатили бы своей головой за свое ужасное в глазах деспота преступление — дерзкое желание свободы; а французский народ, одержавший победу над самым ужасным заговором, над самой черной изменой, до сих пор еще не отомщен!.. Как гражданин, как избранное народом должностное лицо, я заявляю вам, что сегодня в полночь прозвучит набат. Народу надоело оставаться без отмщения. Бойтесь, чтобы не произошел самосуд. Я требую от вас немедленного постановления, чтобы каждой секцией было назначено по одному гражданину для образования уголовного трибунала. Я хочу, чтобы Людовик XVI и Мария Антуанетта (королева), жаждавшие народной крови, насытились при виде крови своих подлых телохранителей“.

Эта кровавая речь, на которую не нашлось ответа у растерявшихся жирондистов, боявшихся Коммуны, встретила решительный отпор со стороны двух монтаньяров (левых), один из которых — Тюрго — сказал, между прочим: „Я люблю свободу и революцию; но если бы для их укрепления требовалось преступление, я предпочел бы заколоть себя. Нам необходимо только одно: объединиться и повсюду быть воплощением любви к закону и общему благу. Революция не ограничивается Францией. Мы обязаны отчетом за нее пред всем человечеством. Пусть когда-нибудь все народы смогут благословить французскую революцию“.

Нерешительность Законодательного Собрания подрывала доверие к нему парижского населения и среди него уже легко

распространялись мнения о необходимости диктатуры Парижской Коммуны, как истинной представительницы революционного народа над всей Францией, о том, что постановления Конвента, прежде чем приобрести силу закона, должны подвергаться голосованию и утверждению избирателей. А Марат в это время не устал обвинять Собрание и жирондистов, призывая к самосуду и массовому избиению арестованных.

При таком настроении Законодательное Собрание, наконец, решилось образовать уголовный трибунал, предложив председательский пост в нем Робеспьеру. Последний, хотя и поддерживал все время требования Коммуны о назначении такого трибунала, предусмотрительно отказался принять этот пост, не желая терять своей популярности в случае отказа итти так далеко, как того может потребовать парижский народ, и вместе с тем прекрасно понимая всю опасность пути, рекомендуемого Маратом.

В такой накаленной атмосфере началась избирательная кампания по выборам в Конвент. В Париже, где партийные разногласия обозначились гораздо резче, чем в провинции, она послужила поводом к обострению отношений между жирондистами и монтаньярами, чего пока еще почти не наблюдалось во всей остальной Франции. Не доверяя жирондистскому большинству Законодательного Собрания и опасаясь, чтобы Конвент не явился по своему составу повторением последнего, парижская Коммуна и поддерживавшие ее крайние монтаньяры в своих избирательных воззваниях и речах высказывались за то, чтобы Конвент находился под неуклонным контролем Парижского населения и чтобы не допускать жирондистов в Конвент. Более осторожно высказывается избирательное воззвание якобинского клуба, в числе членов которого находилось много жирондистов: оно рекомендует избирать противников королевской власти, не делая различия между жирондистами и монтаньярами и направляя своей агитацией острее только против роялистов и конституционалистов („фельяны“—партия Лафайета). Но в Париже те же крайние якобинцы и монтаньяры подчеркивают необходимость избрания от Парижа только крайних демократов, сторонников Робеспьера и Коммуны. С этой целью они подвергают резкой критике систему двухстепенных выборов для избрания депутатов

Конвента и, по предложению Робеспьера, Коммуна выносит постановление, изменяющее для Парижа эту систему требованием утверждения избранных выборщиками депутатов секциями, т.-е. первичными избирателями. Этот шаг Коммуны, а также все усиливающиеся случаи ее вмешательства в действия исполнительных органов власти послужили поводом к ожесточенным нападкам на нее и к обвинению ее в стремлении к диктатуре. Поход против Коммуны открыла жирондистская пресса („Французский патриот“—газета Бриссо), но к этим нападкам присоединились также и некоторые депутаты из лагеря монтаньяров. Присвоение Коммуной власти над Парижем и стремление ее диктовать свою волю всей стране начали беспокоить даже многих демократов. Сторонники централизации и единства управления, они с ужасом видели, что поведение Коммуны ведет к анархии и диктатуре небольшой кучки людей. Так, монтаньяр Камбон в своей речи в Законодательном Собрании называл деятелей Коммуны „узурпаторами“ и требовал их примерного наказания за акты произвола. Другой депутат, Шудье, воздавая Коммуне должное за ее революционные действия в дни августовского восстания, требовал, чтобы она подчинялась законным властям, заявляя, что „подобное положение вещей не может быть более терпимо, ибо оно приведет нас к всеобщей сумятице“.

Видя поддержку со стороны части монтаньяров и наблюдая недовольство широких кругов буржуазии политикой Коммуны, которая своими запретительными полицейскими мерами сильно стесняла торговые и промышленные сношения Парижа с остальной Францией, жирондисты решились, наконец, нанести удар Коммуне. Постановление Законодательного Собрания 30-го августа предписывает секциям избрать по два новых представителя, которые впредь до правильных выборов парижского муниципалитета составят Генеральный совет Коммуны; нынешние члены последней должны сдать вновь избранному совету свои полномочия. Это постановление Собрания о роспуске Коммуны вызвало бурю негодования в заседании последней; на нем раздавались голоса об открытом неповиновении постановлению и новом восстании. Но внутри самой Коммуны начались уже колебания, и она ограничилась принятием адреса протеста, который должен был быть разослан всем департаментам и му-

нипалитетам. Делегация Коммуны протестовала в Законодательном Собрании против постановления о роспуске, ссылаясь на революционные заслуги Коммуны, в ответ на что председатель Собрания твердо заявил: „Все установленные власти исходят из одного и того же источника. Закон, который дает им силу, определил их обязанности. Образование Временной Парижской Коммуны противоречит существующим законам; она явилась следствием чрезвычайного и неизбежного кризиса. Но раз опасность прошла, временная власть вместе с нею должна прекратить свое действие“.

Даже Робеспьер в этот момент испытал серьезные колебания: с одной стороны, поддерживая Коммуну, он наносил бы удары своим главным политическим противникам—жирондистам; с другой, он учитывал разногласия по этому вопросу в среде парижского населения и боялся разойтись с избирателями. Этим объясняется уклончивость его речи в заседании Коммуны, в которой обвиняя последнюю в излишних уступках, он вместе с тем призывал ее подчиниться постановлению Собрания. Несмотря на это, Коммуна отказалась распуститься. Дело закончилось компромиссом: Законодательное Собрание еще раз пересмотрело вопрос и видоизменило прежнее свое решение: число избираемых секциями делегатов было увеличено до 6 от каждой, и, кроме того, в состав новой Коммуны включены заседавшие в ней с 10-го августа члены, поскольку они не будут замещены избирателями другими лицами. Таким образом, увеличившись в числе, Парижская Коммуна получала легальную основу существования.

Посреди всех этих раздоров в Париж пришли известия о неудачах на фронте. Коалиционные войска заняли крепость Лонгви и осадили Верден, открывающий путь на Париж. Сознание опасности для революции на момент сплотило все враждующие между собой элементы. Призыв к внутреннему единению для защиты отечества и революции на почве практического дела обороны от внешнего врага раздался из уст Дантона, становящегося с этого времени главой исполнительной власти республики. В своей речи в Собрании 30-го августа он призвал весь революционный народ к вооруженному сопротивлению вторгшемуся врагу путем организации вооруженных отрядов во всех муниципалитетах Франции. Вместе с тем, признавая правильной

для своего времени меру Коммуны о запрещении выезда из Парижа, он указал на необходимость отменить теперь эту меру в интересах революционного единения Парижа со всей остальной Францией. Он призывал к производству массовых домашних обысков для извлечения спрятанного оружия, закончив свою речь словами: „Французский народ захотел быть свободным. Он будет свободен. Скоро многочисленные силы соберутся здесь. В распоряжение муниципалитетов должно быть предоставлено все необходимое, с обязательством вознаградить собственников. Все принадлежит отечеству, когда отечество находится в опасности“.

Примиряющая речь Дантона, лишенная всяких элементов партийного духа, воздающая должное энергии Коммуны и в то же время призывающая ее, как и всех других, подчиняться высшим соображениям—защите отечества, требующая единства власти, укрепляла престиж Собрания и исполнительной власти и могла бы содействовать объединению всех революционных сил. Но не у всех она встретила сочувствие: и Робеспьер, и Марат усмотрели в призыве устремиться на врага опасность ухода из Парижа его революционных защитников. Тем не менее Собрание приняло ряд постановлений в духе предложения Дантона—об открытии ворот Парижа, о производстве домашних обысков, о наборе граждан для защиты отечества. Даже Коммуна в своем воззвании к населению забыла о своих старых счетах, призывая граждан под знамена для защиты Парижа и Франции, а оратор жирондистов Верньо произнес в Законодательном Собрании вдохновенную речь, посвященную исключительно задачам внешней обороны и вызвавшую одобрение на всех скамьях. Наконец, Дантон 2-го сентября в своей речи потребовал смертной казни для всех изменников, отказывающихся защищать родину, предупреждая, что, если раздадутся звуки набата, это будет сигналом к тому, чтобы броситься на врагов родины. „Чтобы победить их,—так закончил он свою сильную речь,—нужна смелость, еще смелость, всегда смелость,—и Франция будет спасена“.

Набатный звон раздался действительно в ночь со 2-го на 3 сентября по инициативе Коммуны, которая использовала тревожное настроение народа для того, чтобы покончить с заклю-

ченными в тюрьмах, суда и казни которых она требовала, начиная с 10-го августа. В эти дни, полные нервной тревоги и революционного возбуждения, в массах народа легко получали распространение слухи о контр-революционном заговоре, который ждет только выступления парижского революционного народа к границам, чтобы произвести резню среди мирного населения. Мятеж,—гласила молва,—начнется с того, что арестованные священники и контр-революционеры будут выпущены из тюрем. Нет ничего удивительного, что набат, собравший десятки тысяч вооруженных людей, еще более разгорячил воображение: казалось, что самому существованию Парижа и революции грозит опасность. Возбужденный народ устремился к тюрьмам, и в течение нескольких дней происходила ужасная „сентябрьская резня“: безоружных заключенных разъяренная и ослепленная толпа зверски убивала, организуя тут же на улицах и площадях импровизированный трибунал и, за немногими исключениями, не разбирая ни правых, ни виноватых.

В продолжение первых дней резни ни один из органов власти не вмешивался в события, предоставив им идти своим чередом. Влиятельные политические партии также не возвысили своего голоса протеста против совершающихся зверств, стараясь использовать их в своих интересах для сведения счетов со своими политическими противниками. А между тем не требовалось очень больших усилий, чтобы власти смогли своим авторитетным вмешательством приостановить убийства и направить энергию народа, вылившуюся в них, по другому руслу. Но именно в этом, очевидно, не были заинтересованы ни органы власти, ни враждующие между собой партии.

Меньше всего, конечно, Коммуна: многие ее члены и ее комитет охраны принимали активное участие в сентябрьских событиях; последний даже за своей подписью послал в провинцию сообщение о них, которое явно одобряло расправу и призывало к подражанию ей, что и имело место в некоторых провинциальных городах. Далее, Коммуне было важно накануне выборов в Конвент продемонстрировать народный гнев и грозить им умеренным партиям,—прежде всего жирондистам; наконец, она была заинтересована по тем же соображениям в дискредитировании жирондистского Законодательного Собрания, предо-

ставив ему самому выпутываться из создавшегося тяжелого положения и стать лицом к лицу с возбужденным парижским народом. Поэтому, когда через несколько дней после начала резни собрание Коммуны постановило вмешаться, оно приняло весьма скромные меры, в роде недопущения убийства мелких уголовных преступников, лиц арестованных за долги, и т. д.

Немногим отличалось от Коммуны и поведение Законодательного Собрания. Оно боялось идти наперекор воле народа, чтобы не потерять среди него популярности, и вместе с тем руководящие им жирондисты, вероятно, надеялись втайне подорвать престиж ненавистной им Парижской Коммуны, возложив на нее, как на инициатора и пособника, всю ответственность за совершенные преступления. Поэтому Собрание, как и Коммуна, в первые дни резни не предпринимало никаких решительных мер вмешательства, ограничиваясь посылкой комиссаров для наблюдения за совершающимися событиями, ограждения интересов собственности, недопущения грабежей, повсеместно сопровождавших убийства.

Столь же сдержанным было поведение обеих главных партий монтаньяров и жирондистов. И те и другие санкционировали совершенные насилия, а некоторые из них даже открыто называли их актом справедливости. Даже Дантон, боясь разбить революционную энергию масс, не выступил против резни, хотя личным вмешательством он спас некоторых из обреченных на смерть жертв. Но, несмотря на одинаковое почти отношение всех к событиям, вместо необходимого в этот серьезный, ответственный момент единства, враждующие партии воспользовались общим возбуждением для того, чтобы покончить друг с другом. Робеспьер и Коммуна нашли момент подходящим, чтобы обрушиться на жирондистов. Комитет охраны Коммуны издал постановление об аресте жирондистского министра внутренних дел Ролана, отмененное Дантоном, и произвел обыск у вождя жирондистов Бриссо по нелепому подозрению в сношениях с английским правительством. Робеспьер выступил с подобными же обвинениями против жирондистов в заговоре с союзной коалицией и командующим ее войсками, герцогом Брауншвейгским; а в одной из своих речей он прозрачно упоминал о недопущении в Конвент „плохих граждан“, недостаточно патриотически

настроенных и только прикрывающихся личиной патриотизма и революционности, определенно метя в партию Бриссо. В свою очередь, жирондисты, которые, как мы знаем, несут такую же ответственность за пролитую в сентябрьские дни кровь, лишь только прошел первый угар, не остались в долгу, выступив с обвинениями по адресу Робеспьера и его сторонников в Коммуне в стремлении к диктатуре, возлагая на них всю ответственность за происшедшее. Наконец, 7-го сентября жирондистское большинство Собрания, при поддержке части монтаньяров, приняло ряд постановлений, ставящих предел царящим в Париже насилиям и анархии и призывающих Коммуну принять меры по восстановлению гражданского порядка. При обсуждении этого вопроса в Собрании раздавались угрожающие и обличительные речи против Коммуны (речь Камбона и др.).

Вообще к этому времени уже достаточно ясно обнаружилось, что сентябрьские дни вызвали сильное недовольство в широких кругах парижского населения и подорвали доверие к Коммуне. Внутри самой Коммуны начались трения, и более умеренная ее часть добилась принятия постановления от Генерального совета (общего собрания) Коммуны, которым решительно отмежевывалось от ее собственного Комитета охраны. Чтобы сгладить создавшееся впечатление от ее двусмысленной роли в роковые дни, Коммуна обратила все свое внимание на дело военной обороны и в ближайшее время развила в этом отношении огромную энергию. В связи с этой переменой общественного настроения вообще и позиции Коммуны в частности, ее недавний вдохновитель Марат потерял значительную долю своего влияния и вынужден был сделать некоторые оговорки по отношению к сентябрьской резне, которую он всего несколько дней пред тем восхвалял, как акт величайшего патриотизма и революционного героизма.

Выборы в Конвент в большинстве округов происходили до того, как туда дошли известия о сентябрьских событиях. Этим отчасти объясняется, что в провинции почти не нашла себе места та борьба между жирондистами и монтаньярами, которая окрасила собой парижские выборы. Другие вопросы волновали массы избирателей во всей Франции, и прежде всего—вопрос о том, быть или не быть монархии и что делать с изменившим

королем, а в этом вопросе существенных разногласий между жирондистами и монтаньярами не было. Напротив, поскольку в некоторых округах (Вандея, Руан и др.) монархические группы подняли значительную агитацию против республиканской революционной власти и Законодательного Собрания, используя в ней внешние поражения и повышение цен на с'естные припасы и предвещая анархию и покушения на собственность в случае победы республиканцев, постольку естественно и неизбежно было образование на выборах единого революционного республиканского фронта, который без различия политических партий и группировок объединял всех противников монархической власти, мятежного духовенства и эмигрантов, который ставил своей задачей отражение внешнего врага и утверждение народовластия. И этот революционный фронт одержал блестящую победу на выборах: монархисты всюду, за весьма немногими исключениями, были разбиты республиканцами-жирондистами, монтаньярами и другими,—безразлично. Основной причиной победы революции можно считать влияние на население декретов Законодательного Собрания об уничтожении феодальных прав и продаже национальных имуществ (земельные владения церкви и дворян-эмигрантов). Владения эти, переходя в руки прежних обязанных крестьян и укрепляя их в качестве самостоятельных земельных собственников, привязывали крестьянство к революции и ее идеям, так как в них оно видело освободителей от ненавистного феодального рабства.

Непосредственно успеху революционеров на выборах содействовали еще следующие обстоятельства. Во-первых, именем революции действовала единственная в стране твердая центральная власть Временного Исполнительного Комитета (заменившая после 10-го августа совет министров), и сплочение вокруг этого центрального правительства казалось надежной гарантией против внешнего врага, внутренней анархии и покушений на только что завоеванную буржуазную собственность. Во-вторых, Исполнительный Комитет посредством своих избирательных манифестов, прочитываемых на всех избирательных собраниях, оказывал несомненное влияние на избирателей. Наконец, в-третьих, успеху революционеров особенно содействовало упомянутое выше единство революционного фронта, импо-

нировавшее избирателям и привлекавшее их на сторону борцов за новые идеи. Правда, наиболее пылкие из жирондистов пытались внести в избирательную кампанию дух раз'единения и раздора, обвиняя монтаньяров, в частности Робеспьера и Марата, в стремлении к диктатуре и анархии; правда, Робеспьер и его сторонники отвечали на это обвинениями жирондистов в тайном сочувствии роялизму и заговоре против республики вместе с союзной коалицией. Но таково уже было настроение масс избирателей, так далеки от них еще были вопросы, раздиравшие враждующие партии, что эти взаимные обвинения не оказывали никакого влияния на их голосование, и они выбирали попросту тех, кто стоял против королевской власти и за права народа. В общем провинция дала значительный перевес жирондистам, что объясняется не столько большим сочувствием их идеям, сколько тем, что их имена, выдвинувшиеся в предыдущий период революции, пользовались более широкой национальной известностью, чем монтаньяров, ибо с ними связывалось восстание 10-го августа, подготовленное борьбой жирондистского министерства и Законодательного Собрания, руководимого жирондистами, с королевской властью.

Напротив, в Париже, где партийная борьба была гораздо более ожесточенной, где страсти избирателей были сильно разгорячены, где влияние, а иногда и давление клуба якобинцев и Парижской Коммуны на избирателей было весьма значительным, жирондисты потерпели решительное поражение. От Парижа в Конвент были избраны только более крайние элементы, в том числе: Робеспьер, Дантон, Колло д'Эрбуа, Билльо-Варенн, К. Демулен, Марат и др. Но и в этом случае победа монтаньяров определялась не сознательным предпочтением более крайних идей, сколько надеждой, что эти люди окажутся более решительными, чем жирондисты, что они не будут медлить с проведением необходимых и неотложных мер в борьбе с монархией и иноземным вторжением, подобно жирондистам.

Вообще приходится отметить, что принципиальные и теоретические вопросы совершенно не затрагивались на избирательных собраниях, на которых занимались чисто практическими задачами. В частности, вопроса о собственности на них совершенно не касались, несмотря на то, что в выборах участвовали

как ремесленники, так и рабочие. Объясняется это тем, что классовое сознание последних было еще совершенно не развито, что вопрос об уничтожении собственности не был еще поставлен в порядок дня, ибо рабочие еще не отделяли себя ни идеологически, ни политически от передовых элементов буржуазной демократии. Последняя поставляла из своей среды большинство избранников народа в Конвент. Просматривая списки депутатов Конвента с указанием их профессий, мы убеждаемся в том, что большинство их принадлежало к буржуазии в широком смысле слова; но среди них мы найдем лишь ничтожное количество чистых буржуа — промышленников и торговцев, непосредственно заинтересованных в эксплуатации широких масс народа. Большинство депутатов принадлежало к той категории людей, которую мы называем теперь лицами свободных профессий, идеологами. Среди них были и юристы, и врачи, и журналисты, и должностные лица революционного периода, и революционные священники, и артисты. Конечно, мировоззрение этих людей было буржуазно. Конечно, как и буржуазия позднейших периодов (напр., царствования Луи-Филиппа, 1830—48 гг.), они были настроены против коммунизма, против коренных преобразований собственности, против „аграрного закона“ (раздела земли). Но в отличие от позднейшей буржуазии они имели иные, более возвышенные и бескорыстные идеалы. Ибо они были идеологами: их историческая задача состояла в организации буржуазного строя, а не в содействии своекорыстным интересам владельческой буржуазии. Они стояли на почве укрепления частной собственности, но они, во имя общих интересов революции и блага нового общества, склонны были требовать от собственников больших жертв, обуздывать их алчность и проводить широкие социальные и политические реформы в интересах народа, ибо они были носителями идей революционной демократии в целом, в которой не произошло еще разделения на социально враждебные классы; ибо в своем лице они воплощали всю поднимающуюся к новой жизни нацию. Это не мешало этой революционной демократии с ужасом услышать весть о сентябрьских убийствах и выразить на ряде избирательных собраний протест против них. Последнее объясняется тем, что в этих событиях они видели посягательство на принципы частной собственности и личной неприкосновенности, которые

они считали краеугольным камнем демократии, и им казалось, что часть демократии хочет навязать свою волю всему народу, а это вело бы к гибели нации и революции.

Любопытно, что единственный избранный в Конвент депутат-рабочий — Пуант, рабочий оружейного завода в Сент-Этьенне, личность вообще посредственная и мало себя проявившая в качестве законодателя, в своих выступлениях отнюдь не противопоставлял себя своим коллегам из буржуазной среды. Правда, в его резких, хотя и неуклюжих, выступлениях по вопросу о предании суду Людовика XVI чувствуется решительность и резкость, свойственные пролетариату; в своих немногочисленных речах он постоянно подчеркивает свое происхождение из среды доподлинного народа, из рабочей среды, но вместе с тем он отмечает, что „Конвент состоит из людей, свободно избранных *всеми сословиями без различия*“, которые в целом составляют *единую нацию*, восставшую против короля — клятвенного преступника и изменника.

Результаты выборов, оказавшиеся весьма благоприятными для партии Жиронды, вызвали гнев Марата. В своем „Друге Народа“ он приписывает ее успехи несправедливой избирательной системе (двухстепенные выборы) и проискам интриганов, мнимых друзей революции. Он снова призывает народ к бдительности, к недоверию по отношению к новому Национальному Собранию. Он умоляет народ, во имя спасения революции, не смущаться неприкосновенностью депутатов, оказывать на них давление, заставляя Конвент выполнять народную волю, и в случае его неповиновения грозит восстанием против него. Тон этих статей, как всегда у Марата, тревожный и вызывающий.

В свою очередь, жирондисты, упоенные успехом, подняли газетную травлю против крайних демократов. В момент, когда так необходимо было объединение всех революционных сил, они вспомнили о сентябрьских событиях, понемногу уже начавших изглаживаться из памяти парижского населения, стараясь очиститься от всякой ответственности за них и обвиняя в них Коммуну, Марата, Робеспьера и косвенно даже Дантона, который, казалось бы, должен был явиться их естественным союзником. Более того, — они, пользуясь вызывающими статьями Марата, старались доказать, что сентябрьские события были сознательно

подготовлены людьми, желавшими кровопускания и анархии, и стали распускать зловещие слухи о предстоящей новой резне. Их стремлением в этой агитации было добиться полной и нераздельной власти и сокрушить Марата. Происшедшие в Париже грабежи, совершенные злоумышленниками, переодетыми в форму муниципальных чиновников, дали повод жирондистам объявить эти чисто уголовные преступления звеном в общей цепи заговоров, организуемых Коммуной и крайними демократами, обвинив в соучастии и попустительстве им сподвижника Дантона, Фабра д'Эглантина. Одновременно жирондисты потребовали кассации парижских выборов, давших победу монтаньярам.

Благодарный материал для агитации жирондистов представил выдвинутый в это время вопрос об аграрном законе. Два эмиссара исполнительной власти, члены Парижской Коммуны, Дюфур и Моморо во время своего пребывания в Нормандии стали проповедывать „Декларацию прав человека“¹⁾, дополняя ее следующими двумя пунктами социального содержания:

„Нация признает только промышленную собственность; она обеспечивает ей гарантию и неприкосновенность. Равным образом она обеспечивает гражданам гарантию и неприкосновенность того, что ложно называли земельной собственностью, до того момента, как будут установлены законы по этому поводу“.

В этих довольно туманно выраженных пунктах нет, конечно, социализма. Напротив, они являются крайним логическим выводом из буржуазно-революционного мировоззрения, ибо характерным признаком буржуазии, свергнувшей старый режим, было стремление к созданию и утверждению прежде всего собственности *промышленной и движимой*. Но за этой туманной формулой Дюфура и Моморо скрывались чаяния нисших классов народа, желавших получить от революции ощутимые реальные блага, в ней сквозили уже очертания позднейшего требования аграрного закона — наделения землей, принадлежавшей церкви и эмигрантам и перешедшей в национальную собственность неимущих.

Мысль о социальных различиях внутри произведшего революцию третьего сословия и о различных целях, которые разные

¹⁾ Принципы революции, изложенные Учредительным Собранием в специальной Декларации.

его элементы ставят себе в ней, еще раньше, в июле, была формулирована Маратом. Революции не удаются, писал он, „когда плебс, т.-е. низшие классы, один только борется с классами привилегированными. В момент восстания он уничтожает своей массой, но какие бы успехи он ни одержал вначале, он кончает всегда поражением; ибо, лишенный всегда знаний, искусства, богатства, оружия, вождей и плана действий, он не имеет средств защиты против заговорщиков, обладающих хитростью, ловкостью и искусством... Поэтому революция совершается и поддерживается нисшими классами общества: рабочими, ремесленниками, поденщиками, земледельцами, теми несчастными, которых бесстыжие богатые классы называют чернью и которых римляне высокомерно называли пролетариями“. И в другом месте: „Допустим, что все люди познали и полюбили свободу; огромное большинство их вынуждено отказываться от нее ради куска хлеба; прежде чем думать о том, чтобы быть свободным, приходится думать о том, чтобы жить. Почти во всех странах $\frac{7}{10}$ жителей плохо питаются, плохо одеты, имеют плохие жилища, не имеют пристанища, где спать, $\frac{7}{10}$ проводят свою жизнь в лишениях, страдают одинаково в прошлом, настоящем и будущем“.

Тот же вопрос о классовых различиях, в связи с подавлением рабочих беспорядков фабрикантами при помощи войск, поднимался и на заседании клуба якобинцев 12-го сентября. Тем не менее большинство революционеров, даже симпатизирующих страданиям нисших классов, решительно придерживалось принципа неприкосновенности частной собственности. Поэтому агитация Дюфура и Моморо вызвала энергичные протесты не только со стороны собственников,—буржуазии и крестьянства, но и со стороны самых различных общественных групп. В проповеди аграрного закона было усмотрено покушение на собственность вообще, ибо, начав с уничтожения земельной собственности, народ может не остановиться пред собственностью промышленной. Жирондистские публицисты, указывая на необходимость более равномерного распределения собственности, в интересах неимущих, ополчились против смутьянов, проповедующих аграрный закон и внесением смуты и анархии играющих на руку контрреволюции. Еще с большей силой обрушился на сторонников

аграрного закона принадлежавший к крайней левой крупный банкир Апахаренс Клоотц. Он указывал совершенно правильно на экономическую реакционность раздела земель на мелкие участки между неимущими: такой раздел неминуемо привел бы к упадку сельского хозяйства, процветание которого определяет собой успехи промышленности и торговли; он вызвал бы падение заработной платы городских рабочих и приостановку промышленной жизни. Клоотц дальновидно указывал, что раздел земли неизбежно повлечет за собой раздел имуществ вообще, а это будет означать смерть всякой промышленной и иной личной инициативы. С другой стороны, многие отмечали опасность в политическом отношении проповеди аграрного закона: угроза разделом земли неизбежно приостановит процесс покупки частными лицами национальных имуществ, конфискованных у церкви и эмигрантов, а это лишит государство и революцию столь необходимых им денежных средств.

Поскольку жирондисты критиковали с этой точки зрения идею аграрного закона, они были совершенно правы. Но они шли дальше. Побуждаемые жадной властью и партийными соображениями, они старались связать пропаганду этой идеи с деятельностью Парижской Коммуны, сентябрьскими убийствами, с именами Робеспьера, Дантона и Марата, которые не только не солидаризировались с ней, но были ее несомненными противниками. Вызванное агитацией Дюфура и Моморо смятение умов жирондисты искусно использовали в интересах своей партии, во вред партии, с которой они боролись.

А между тем на Францию с востока надвигались грозные тучи. Пал Лонгви, пал Верден, и угроза Парижу становилась все более реальной. Жирондистские министры подняли даже вопрос о переезде правительства из Парижа вглубь страны, в случае опасности для столицы; не понимая, что оставление в такой момент столицы было бы не только стратегическим, но и политическим шагом: предоставлением в жертву разъяренным реакционерам революционного Парижа.

В этот момент Дантон оказался на высоте положения: номинально министр юстиции, он фактически был главой правительства национальной обороны. Понимая грозящую вместе с Парижем всей революции опасность, он напряг все свои недю-

жинные силы для организации обороны, для вдохновения народных масс, для формирования батальонов защитников отечества. И его усилия увенчались успехом. В лице генерала Дюмуре, талантливого и вместе с тем честолюбивого военного и дипломата, он нашел себе подходящего помощника. Вместе с Дантоном Дюмуре понимал, что только под'ем национального духа может спасти погибающую Францию, и считал, что лучшим средством оборониться от врага будет переход революционных армий в наступление. В своих пламенных прокламациях, обращенных к армии и населению, Дюмуре призывает их к отражению и уничтожению врагов революции, угрожающих ее завоеваниям и свободе. И на его призывы, отвечавшие настроению населения, откликнулись народные массы. На бельгийской равнине, у местечка Вальми, Дюмуре, при помощи генерала Келлермана, удалось разбить войска союзной коалиции, после чего вождь союзной армии герцог Брауншвейгский дал приказ к отступлению.

Париж, а с ним вместе и вся революционная Франция, были спасены. Битва при Вальми имела не только военно-стратегическое значение. Она выявила силу нового духа—духа революции, пред которым не устояли численно превышающие революционную армию силы союзников. Это больше, чем сами победители: Дюмуре и Келлерман, учел великий поэт Гете, наблюдавший битву из прусского лагеря. Он отметил эту битву знаменательными словами: „С этого пункта и с этого дня начинается новая эра в мировой истории“.

Этот день, 20-го сентября, совпал с открытием заседания Национального Конвента в Тюльерийском дворце.

II. Республика.

Собравшийся 21-го сентября Конвент по своей физиономии резко отличался от первых двух Национальных Собраний—Учредительного и Законодательного. В его составе не было уже более умеренных (конституционалистов, фельянов), которые составляли большинство в Учредительном и значительную группу в Законодательном Собрании. Они частью находились под подозрением, частью были арестованы или эмигрировали в лагерь контр-революции, частью отстранились от активной политической

деятельности. Жирондисты, хотя и прошедшие в большинстве, не чувствовали себя так уверенно и победоносно, как в Законодательном Собрании: рядом с ними с каждым днем росла и укреплялась новая сила—монтаньяры, и в Париже они чувствовали себя окруженными недоверием и подозрением населения. Перед Конвентом стояли огромные, великие задачи: утверждение революции и демократии внутри страны и ведение войны с внешним врагом. Эти задачи требовали единения внутри Конвента; создание этого единения составляло главную заботу Дантона. Возмущение собственников агитацией Моморо, обвинения жирондистами Робеспьера, Дантона и Марата в стремлении к диктатуре посредством образования „триумvirата“, а Парижской Коммуны—в желании властвовать над всей Францией—побудили Дантона в заседании Конвента 21-го сентября произнести речь, которая стремилась рассеять все накопившиеся сомнения и недоразумения. Слагая с себя данные ему полномочия министра, он предложил Конвенту для начала своих работ произнести клятву верности основным принципам революции. „Вы должны заявить народу,—говорил он,—что Конституция по пунктам и путем поименного голосования должна быть принята большинством первичных собраний (избирателей). Тогда исчезнут все ложные призраки диктатуры, нелепые идеи о триумvirате, весь этот вздор, измышляемый для запугивания народа, так как ничто не будет признано согласным конституции, поскольку не будет признано народом... До сих пор народ возбуждали, потому что над'о было поднять его против тиранов. Теперь необходимо, чтобы законы были страшны для тех, кто посмеет посягнуть на то, что народ создал, уничтожая тиранию... Заявим, что всякая земельная, личная и промышленная собственность будет вечно поддерживаться, что сама Декларация прав незыблительна и что следует приступить к ее пересмотру действительно свободным народом“.

Конвент единодушно принял следующие предложения Дантона: „Национальный Конвент постановляет: 1) не должно существовать конституции, которая не была бы принята народом; 2) личность и собственность находятся под охраной нации“.

В этой программе, которую Дантон предложил с целью положить конец смутам и взаимным обвинениям, нет ничего специ-

фически буржуазного, ибо утверждение принципа собственности в данном случае отвечало не столько эгоистическим интересам собственников, сколько интересам всей нации в целом, революции. Поскольку во Франции конца XVIII века не было в наличности экономических и духовных предпосылок для коммунистического преобразования общества, призыв к дележу, аграрному закону и т. п. имел политически и экономически реакционный характер, ибо в обществе, едва только освободившемся от арендных цепей и давшем простор развитию частной собственности, такой призыв мог привести только к бесполезным беспорядкам и питающей контр-революцию анархии.

В тот же день, по предложению Колло д'Эрбуа, под гром аплодисментов, Конвент постановил официально отменить королевскую власть.

Смелости и решительности первых шагов Конвента соответствовали смелые и решительные удары Дюмуре на фронте. Эти успехи окрыляли членов Конвента и пробуждали революционный подъем в стране. После поражения при Вальми Пруссия вступила с Дюмуре в переговоры о мире. Дюмуре не отклонил их, так как, будучи столь же искусным дипломатом, как и военачальником, он ставил своей целью изоляцию Австрии, как главного врага революции, надеясь, что ему удастся нейтрализовать Пруссию и таким образом разбить коалицию. Ту же политику, в сущности, преследовал и Дантон, исходя, впрочем, из других соображений: он стремился, изолировав Австрию, уничтожить ее, обессилить Пруссию и тем доставить французской республике признание в Европе и необходимый для ее укрепления прочный мир. Из этих переговоров ничего положительного не вышло, и Дюмуре развил блестящую кампанию наступления в Бельгии. Отступающие пруссаки и австрийцы должны были очистить занятые ими первоначально Лонгви и Верден, а после блестящей победы при Жемаппе Дюмуре в течение нескольких недель без труда последовательно занял Монс, Шарлеруа, Брюссель, Льеж, Гент, Антверпен, Намюр, то-есть всю Бельгию.

Завоевая Бельгию, Дюмуре в своих воззваниях к жителям страны подчеркивал, что войска революционной Франции, вторгаясь к ним, не несут ничего, кроме свободы и революционных идей.

„Бельгийцы!—говорилось в одном из этих воззваний,—мы—братья. Вы дали слишком много доказательств того, что вы ждете с нетерпением возможности сбросить с себя гнет, так что нам не приходится опасаться необходимости поступать с вами, как с врагами“.

Тем не менее, хотя бельгийское население вначале с радостью встречало завоевателей, как освободителей Бельгии от национального гнета, уже скоро бельгийская буржуазия, стремившаяся к национальной независимости, стала испытывать недовольство и стеснение от господствующей чужеземной силы, преследовавшей свои революционные задачи, расходящиеся во многом с задачами национального освобождения маленькой страны. В этом недовольстве таились большие опасности для революции.

Военные успехи революционных войск вызвали тяготение к французской республике и других угнетенных областей. 22-го октября подбег Национального Собрания в Савойе,—представительство всех ее общин, избираемых всеобщим голосованием,—постановило отменить все феодальные привилегии и войти в состав французской республики, весть о чем с восторгом была встречена Конвентом.

В рейнских провинциях Германии наблюдалась та же картина. Стонавшее под гнетом феодализма и деспотизма население рейнской области вначале восторженно приветствовало, как освободителей, продвигавшиеся вперед французские революционные войска под командой Кюстина, занявшие один за другим Майнц, Шпейер, Вормс и Франкфурт-на-Майне. Но если завоевание правого берега Рейна и несло освобождение от феодализма его жителям, то вместе с тем оно вело за собой все те бедствия, какие несет с собой всякая оккупация: грабежи и мародерство солдат, поборы и контрибуции. В данном случае оправдалось предсказание Робеспьера, сделанное им еще в период Учредительного Собрания, когда жирондисты проповедывали идею освободительной войны, что опасно приносить народам Декларацию прав человека на острие штыков.

Опасность эта сильно увеличивалась, благодаря неосмотрительной тактике Кюстина в завоеванных провинциях. Продвижение французских войска вглубь чужой страны и отдаление от

родины требовало больших средств для содержания армии. Кюстин прибег с этой целью к наложению контрибуции на население завоевываемых городов и областей. Контрибуции эти были очень велики и обременительны. Правда, Кюстин в своих прокламациях возвещал германскому народу, что они накладываются в интересах революции и свободы, объявляя, что французская нация несет „войну узурпаторам и мир хижинам“; правда, контрибуции налагались только на имущих. Но это и значило толкать рейнскую буржуазию в объятия феодальной контр-революции вместо того, чтобы привлечь ее симпатии на сторону французской революции; значило сеять элементы национальной вражды, которые впоследствии должны были дать вредные и опасные для Франции всходы.

Но Конвент, упоенный военными и политическими успехами, не замечал этой опасности. Приветствия и адреса, полученные им от различных радикальных и либеральных обществ Англии наполняли его гордостью и чувством уверенности в несокрушимой силе революционной Франции. В своих гордых ответах на эти адреса Конвент перешел всякую меру осторожности, выражая надежду на созыв в скором времени Великобританского Национального Конвента, на провозглашение в Англии республики и говоря о готовности революционных французских войск двинуться по ту сторону Па-де-Калэ, чтобы притти на помощь английским революционерам. Этот гордый вызов английскому правительству, не опиравшийся ни на какие реальные силы, был опасен тем, что мог побудить Англию вмешаться в борьбу Франции с коалицией, став на сторону последней и тем бесконечно осложняя задачи первой.

А в заседании 19-го ноября Конвент принял следующий декрет: „Национальный Конвент заявляет от имени французской нации, что он обещает братство и помощь всем народам, желающим вновь обрести свою свободу, и поручает исполнительной власти дать генералам необходимые распоряжения о помощи этим народам и защите граждан, которые пострадали или могут пострадать за дело свободы.“

Национальный Конвент постановляет, чтобы исполнительная власть приказала генералам французской республики отпе-

чатать и распространить этот декрет на различных языках во всех областях, где они будут проходить с войсками Республики“.

Здесь уже провозглашается цель освобождения народов посредством завоевательных войн, и военные задачи революции расширяются до пределов объявления войны всему старому миру.

Внимание, уделяемое Конвентом военным вопросам, не мешало ему в это же время заняться и неотложными внутренними реформами.

В этот именно период времени объявляется новое летосчисление (1-й год республики и 4-й год свободы), готовятся шаги к созданию нового республиканского календаря, принимается новая система мер и весов. В этой законодательной работе принимают деятельное участие самые выдающиеся ученые Франции, которых Конвент старается привлечь к делу революции, так же как и художников и артистов путем организации национальных празднеств и торжеств.

Победы, искусство, наука, человечность сопровождали, таким образом, на первых шагах рождающуюся республику.

III. Затруднения и раздоры.

Но на ряду с успехами и победами, французская революция испытывала также серьезные затруднения, которые мешали ее поступательному развитию и требовали для своего преодоления напряжения всех ее сил. Прежде всего в различных частях страны — в Вандее, Бретани, на Юго-Западе и на Юге стали вспыхивать тайные заговоры и мятежи контр-революционного характера. Вожди этих заговоров, действовавшие в согласии с эмигрантами, пользовались внешними затруднениями республики, чтобы ковать против нее свое отравленное оружие. Революционному правительству удавалось на первых порах сравнительно легко подавлять эти мятежи, но в охваченных ими областях уже назревали более серьезные и опасные движения.

Одновременно с этими контр-революционными заговорами развивалось сильное недовольство на религиозной почве, вызываемое церковной политикой революции и охватившее значительные слои французского крестьянства. Перед своим роспуском

Законодательное Собрание приняло ряд мер, направленных против священников, отказавшихся принять присягу на верность конституции и гражданское устройство духовенства, декретированное Учредительным Собранием. Во исполнение этих мер, не-присягнувшие священники массами стали отрешаться от должности и ссылаться в Гвиану. Гонимые священники явились главными агитаторами против революции среди масс религиозно и фанатично настроенного крестьянства. Но церковная политика революции возбуждала против себя не только враждебных конституции священников: недовольство и беспокойство стали овладевать и так называемыми „конституционными“, т.-е. присягнувшими священниками. Они не чувствовали устойчивости своего положения при новой организации церкви, опасаясь, что дальнейшее развитие революции, начавшись с гражданского устройства духовенства, может привести постепенно к уничтожению всякого культа и полному отделению церкви от государства.

Целый ряд антиклерикальных шагов Парижской Коммуны должен был укрепить эти опасения. Еще в июне 1792 г. Коммуна издала декрет, стесняющий религиозные процессии и запрещающий чиновникам государства принимать в них участие, в декабре она запретила служить рождественскую обедню. Эти запрещения и гонения вызывали недовольство не только конституционных священников и религиозно настроенных прихожан и протесты со стороны нескольких парижских секций, но и со стороны многих крайних революционеров. Последние, будучи свободны от религиозных предрассудков, боялись, чтобы подобные меры, насильственно подавляющие существующие в народе религиозные чувства, которые могут рассеяться лишь постепенно, по мере проникновения идей революции в народную толщу, не увеличили смуту и анархию, создав новые затруднения для революции.

Вопрос чрезвычайно осложнился благодаря двум декретам Законодательного Собрания: о метрикации и разводе. До революции духовенство выполняло гражданскую обязанность регистрации браков, рождений и смертей, которая в то же время имела характер религиозного акта. Поскольку государство становилось на путь отделения церкви от государства, оно должно было сделать то, что сделало Законодательное Собрание,—об-

явить эту регистрацию обязанностью местных муниципальных властей. Столь же логично было допущение развода, который, как и брак, об'являлся теперь чисто гражданским актом. Эти неизбежные меры, вытекавшие из принципов, провозглашенных Учредительным Собранием, сильно подрывали значение и влияние духовенства, вызывая ропот даже со стороны конституционных священников. Последние формально подчинились этим декретам, стараясь на практике соблюдать компромисс между законами революции и основами христианского вероучения.

Но отняв у духовенства гражданские функции и лишив его церковных имуществ, Учредительное и Законодательное Собрание остановились на пол-дороге. Не решаясь вооружать против себя все духовенство и находящиеся под его влиянием народные массы, они сохранили бюджет исповеданий, т.-е. оплату государством содержания священников за выполнение ими в интересах частных лиц оставшихся за ними исключительно религиозных функций. Это несомненно находилось в противоречии с установленным ими принципом и должно было по мере фактического проведения в жизнь лишения церкви государственного значения привести к отказу от оплаты священников, уничтожению бюджета исповеданий и предоставлению верующим самим оплачивать расходы, связанные с поддержанием признаваемого ими вероучения.

Такая попытка была сделана Камбоном в докладе Конвенту от 13-го ноября от имени финансового комитета. Исходя из чисто фискальных соображений—необходимости сократить расходы государства, Камбон предложил уничтожить бюджет исповеданий, доходивший до 100 миллионов. По видимости столь простое предложение Камбона однако не встретило сочувствия ни в самом Конвенте, ни среди революционных партий вне его. Оно, на первый взгляд, освобождало население от лишних налогов, но на самом деле обременяло те религиозно настроенные массы, которые не могли обходиться без священников и которые, если-бы предложение Камбона было принято, должны были бы взять вместо государства на свой счет содержание духовенства. Вместе с тем это предложение должно было бросить в лагерь контр-революции даже конституционных священников, в особенности благодаря тем мотивам, которые приводились в пользу

предложения его защитниками, видевшими в уничтожении бюджета исповеданий только первый шаг к уничтожению культа и религии вообще.

И в якобинском клубе, и в Конвенте ряд ораторов по чисто политическим соображениям высказался против проекта Камбона. Так, Базир в якобинском клубе говорил: „Кто может приветствовать декрет, одним разом создающий триста тысяч бродяг? Не забудем, что народ любит еще религию. Принять проект Комитета значить возбудить фанатизм. Как убедите вы старуху, что вы не уничтожаете религию, уничтожая расходы по культу? В том состоянии отчаяния, в каком окажутся священники, они найдут легкие средства обмануть невежественный народ, и кто может определить, сколько крови прольется благодаря этому декрету? Проект декрета плох и он будет таковым до тех пор, пока не умрут все старухи“. Другие ораторы—якобинцы указывали также на опасность превращения священников в мучеников за религиозную идею. „Партия так называемых конституционных священников значительна и влиятельна,—говорил Леруа,—ей очень легко разделить французский народ и содействовать гибели свободы. Мы должны поступить со священниками, как поступают с дикими животными, грозящими нас проглотить: чтобы утолить их ярость, бросим им кусок хлеба“. В конце концов, все возражения против проекта Камбона в якобинском клубе сводились к тому, что большинство французского народа—католики и что, если монархические предрассудки уже рассеялись, то религиозные предрассудки гораздо глубже укоренились в нем; к тому же лишение священников пенсии и обречение их на голод создаст, в лице фанатичного духовенства, враждебную революции армию, сильную своим влиянием на народные массы, а между тем есть основания полагать, что постепенно усваивая демократическую конституцию, конституционное духовенство откажется от наиболее вредных своих догм. Все эти соображения заставили якобинский клуб высказаться против проекта Камбона.

В Конвенте с возражениями Камбону выступили Дантон, Кондорсе и Робеспьер. Дантон предостерегал от подхода к этому щекотливому вопросу с философской точки зрения. „Пока народ продолжает оставаться варваром,—утверждал он,—было бы оскорблением нации лишение народа людей, благодаря которым

он может находить себе некоторое утешение. Я лично признаю только Бога вселенной, Бога свободы и справедливости. Но крестьянин верит еще в человека утешителя, которого он считает святым... Дайте ему заблуждаться, но просветите его; скажите ему определенно, что в намерение Конвента входит не разрушение, а усовершенствование, что он преследует фанатизм только в интересах свободы религиозных мнений“.

Робеспьер подошел к вопросу иначе, чем Дантон. Будучи противником догматического христианства и являясь сторонником новой государственной революционной религии, освобожденной от догм католической церкви, он выступил против Камбона, защищая право народа на религию. Утверждая, что философский дух уже разрушил наиболее вредные догмы, он говорил, что законодательство должно содействовать просветлению умов „свободной конституцией, возрождением нравов и воспитанием душ в естественной простоте, но не случайным декретом, продиктованным финансовыми соображениями“. „Догма о божественном глубоко укоренилась в умах, и народ связывает эту догму с вероучением, которое он до сих пор исповедывал; с этим вероучением он связывает, по крайней мере отчасти, и свои моральные представления. Напасть прямо на это вероучение значит задеть моральные чувства народа“... „Вы говорите о свободе совести, а ваша система ее уничтожает, ибо сделать невозможным для народа исповедывать свою религию и предписывать ее законом—одно и то же. Никакая власть не имеет права уничтожить установленное вероучение, пока сам народ не откажется от него“.

Если в речи Дантона преобладают политические соображения, то у Робеспьера они перевешиваются моральными и религиозными соображениями, и в его речи уже слышатся предвестники того культа Верховного Существа, который он впоследствии установил.

После всех этих и других горячих и убедительных речей Конвент отклонил предложение финансового комитета.

К затруднениям, связанными с контр-революционными заговорами и церковным вопросом, присоединились финансовые, а потом и продовольственные осложнения. Финансовые затруднения, по докладу Камбона Конвенту 17-го октября, рисуются

в следующем виде. Революционные события вызвали серьезные нарушения равновесия государственного бюджета: многие старые источники доходов были уничтожены, а новые налоги, благодаря несовершенству административного аппарата, поступали крайне нерегулярно. Дефицит приходилось покрывать усиленным выпуском бумажных денег—ассигнаций. Объявленная Законодательным Собранием революционная война поглощала огромные средства, и уже Законодательное Собрание вынуждено было приостановить временно, до окончания войны, прекратив уплату по государственным займам, превышающим 10 тысяч. Тем не менее дефицит увеличивался с каждым месяцем. По вычислениям Камбона ежемесячные расходы государства достигали 48½ милл. ливров, которые далеко не покрывались поступлениями от налогов. Число выпущенных ассигнаций постепенно поднялось с одного миллиарда 200 миллионов до двух миллиардов. А между тем предстоящий новый набор требовал новых значительных расходов, в виду чего Камбон настаивал на выпуске дополнительных 400 миллионов ассигнаций. Правда обеспечением этих ассигнаций являлись огромные национальные имущества (королевские владения, имущество церкви и эмигрантов), которые на сумму в 3 миллиарда 170 тысяч ливров были пущены в продажу, и кроме того, государство располагало еще другими запасными имуществами; но, во-первых, распродажа национальных имуществ лишала государство последних ресурсов, по истощении которых у него не оставалось бы никаких средств; во-вторых, в условиях войны и гражданской смуты эта продажа не могла совершаться так гладко и быстро, как то было необходимо. Поэтому, кроме нового выпуска ассигнаций, который был принят Конвентом, Камбон предлагал также ввести чрезвычайный налог на богатых, носящий характер принудительного займа.

Таким образом, в конце 1792 и начале 1793 года революционная Франция начала уже испытывать финансовые затруднения, хотя экономическая жизнь ее развивалась более или менее нормально; производство шло полным ходом; в торговле как внутренней, так и внешней, не наблюдалось заминок.

К этому времени, правда, разразился жестокий кризис в Лионе: шелковое производство этого города, обслуживавшее раньше нужды двора и аристократии, вместе с революцией и массо-

вой эмиграцией дворянства лишилось главных своих потребителей. Фабрики стали останавливаться, и 30 тысяч лионских рабочих остались без работы и хлеба. Городское самоуправление через особых делегатов обращало внимание Конвента на бедственное положение лионского населения, которым умело пользовались контр-революционные заговорщики для сеяния смуты. Конвент вначале думал помочь лионскому кризису теми же мерами, какие были предприняты в Руане: там дороговизна и недостаток хлеба побудили Коммуну добиться у Конвента разрешения на принудительный заем среди буржуазии, чтобы на полученные таким образом средства произвести за границей закупку недостающего хлеба. Не так, однако, обстояло дело в Лионе, где не в недостатке продовольствия, а в приостановке промышленности заключалась причина бедствий. В виду этого лионский муниципалитет, обеспокоенный контр-революционным настроением лионского населения на почве кризиса, ходатайствовал пред Конвентом, помимо обложения буржуазии, об ассигновании государством трех миллионов на восстановление лионской промышленности и организации, в случае необходимости, государством производства на счет нации. Предложение это было отклонено Конвентом, т. к. национализация лионских фабрик была бессмысленна при условии, что производимые ею промышленностью товары не могут найти себе сбыта. Лионский кризис, к счастью, разрешился сам собой, т. к. оставшиеся без работы рабочие частью пошли в армию, частью нашли применение своему труду в предприятиях развивавшейся военной промышленности. Но пока безработица продолжалась, Лион представлял из себя благоприятную почву для всевозможных контр-революционных заговоров и враждебной республике агитации.

К счастью для Франции и революции, лионский промышленный кризис представлял собой исключение; в общем, уже в конце 1792 г. и в начале 1793 года экономическая жизнь Франции развивалась настолько нормально, промышленность шла настолько полным ходом, что министр внутренних дел Ролан, давая Конвенту отчет об экономическом положении страны, предлагал распространить промышленность на сельские местности, что, конечно, было бы абсолютно невозможно, если бы в промышленной жизни наблюдались какие-нибудь затрудне-

ния. Но, несмотря на это внешнее благоприятное течение экономической жизни, в ней было нарушено вследствие вышеуказанных причин равновесие, что прежде всего сказалось в области финансов. Бесконечный выпуск ассигнаций, за которыми не стояло в виде обеспечения достаточного легко реализуемого металлического фонда, вел к повышению цен на товары, значительно вздорожанию жизни, которое начинало беспокоить правительство. Положение ухудшалось вследствие того что, наряду с выпускаемыми государством ассигнациями, местные органы власти—муниципалитеты—также выпускали свои местные бумажные деньги под различными наименованиями; таким образом общее число циркулировавших в стране кредитных знаков непрерывно росло, приходя во все большее несоответствие с реальными ценностями и ведя ко все большему обесценению денег и соответственно повышению цен на все товары. Поэтому первой мерой, принятой Конвентом для борьбы с этим злом, был декрет от 8-го ноября, воспрещавший впредь муниципалитетам новый выпуск местных денег и устанавливавший способы изъятия из обращения уже циркулирующих денег этого рода. Дефицит, который общины могли получить от этой операции, декрет постановлял покрывать посредством принудительного займа у состоятельных лиц. Таким образом, как и во время экономических затруднений в Лионе и Руане, финансовые тяготы должна была нести одна крупная буржуазия, что, конечно, настраивало ее против революции.

Несмотря на угрозы серьезными карами, декрет очень плохо проводился в жизнь, и местные деньги продолжали обращаться. Положение становилось весьма тревожным, и в начале 1793 года Ролан характеризовал его следующим образом: „Торговля превратилась в океан случайностей благодаря принявшей катастрофический характер фальсификации. Народ дрожит, не будучи уверен в прочном обеспечении своей заработной платы. Всякий стремится получить страховку, продавая дороже свои товары или свой труд. Цены растут со страшной быстротой, в результате чего стонет народ и истощается государственная казна“.

В первую очередь, конечно, поднялась цена на хлеб—в зерне и печеный. В то время, как в течение почти 35 лет

перед революцией (с 1356 г.) средняя цена за сетье пшеницы равнялась 24 ливрам, теперь она поднялась до 37 ливров, сильно колеблясь от департамента к департаменту (от 25 до 64 ливров за сетье). Такое повышение цен на главный предмет питания означало фактическое понижение заработной платы, и отовсюду стали раздаваться требования ее повышения. Там, где цена хлеба оставалась сравнительно умеренной, как, например, в Париже,—это достигалось тем, что муниципалитет, закупая хлеб для населения, продавал его ниже себестоимости, приплачивая из своих средств разницу. Соответственно пшенице повышалась цена и других хлебов, тем более, что часть их постиг неурожай и их количества было недостаточно для прокормления населения.

Некоторые историки, например, Тэн, склонны видеть основную причину вздорожания цен во всеобщем недоверии и анархии, порожденных революцией. Конечно, некоторое значение эти причины имели: неуверенность в завтрашнем дне, недоверие к ассигнациям мешали развитию торговых сношений, вывозу хлеба из более богатых им областей в менее хлебобродные, содействуя скоплению хлеба в одних местах и сильной нужде в нем в других. Отсюда получила широкое распространение легенда о злоумышленниках—скупщиках и спекулянтах, пользовавшихся нарушенным экономическим равновесием, чтобы в контр-революционных целях вызывать недовольство народных масс и сознательно сеять панику. В частности, на основании документов, устанавливавших участие короля в спекуляциях с хлебом, многие были склонны приписывать ему сознательное желание посредством спекуляции вносить расстройство в экономическую жизнь, вызывая тем движение в пользу контр-революции. На самом деле спекуляция корыстных людей, наживавшихся, как это всегда бывает, на народном бедствии, была не причиной, а следствием общего неустойчивого экономического положения и отсутствия доверия в сфере экономических отношений; в частности, спекуляция Людовика XVI производилась не на такие огромные суммы, чтобы могла оказать сколько-нибудь значительное влияние на рыночные цены.

Причины вздорожания хлеба были более глубоки и притом их было довольно много. Дело заключалось не в неурожаях: на,

против, многочисленные данные свидетельствуют о полном изобилии хлеба в стране и о почти повсеместных урожаях пшеницы.

Одной из главных причин был, как уже сказано, чрезмерный выпуск ассигнаций, вызывавший их обесценение, неустойчивость их курса и, как гарантию против этого, повышение цен товаров, прежде всего хлеба, как главного продукта питания.

Другой причиной был факт ведения войны, оказывавшей сильное влияние на всю экономическую жизнь. Война влияла на повышение цен двумя путями: с одной стороны, призывая под ружье тысячи и десятки тысяч крестьян и отрывая от сельского хозяйства реквизируемый для военных надобностей скот, она увеличивала стоимость сельскохозяйственного производства, что не могло тотчас же не отражаться на цене производимых в нем продуктов; с другой,—содержание и питание армий вызвало повышенный спрос на продукты сельского хозяйства, что также содействовало повышению на них цен.

Наконец, не осталось без влияния и то улучшение экономического положения народа, какое принесла с собой революция. Освобождение от феодальных повинностей, повысившее благосостояние французского крестьянства, создание, благодаря передаче в руки крестьянства бывших дворянских и церковных земель, класса независимых земельных собственников повысило потребление сельскохозяйственных продуктов вообще и продуктов высшего качества (напр., пшеницы вместо ржи), в особенности, в деревне и соответственно уменьшило количество их, вывозимое на продажу, а это естественно повышало их цену.

Массовые закупки продуктов для армии и бестолковая конкуренция при этом ведомств между собой искусственно повышали цены на эти продукты и содействовали спекуляции и хищничеству разного рода поставщиков. Среди усиленных спекулянтов этого рода оказались, между прочим, несколько евреев, но Конвент после того, как революция провозгласила равенство всех без различия нации и религии, не воспользовался этим обстоятельством для разжигания старинных народных предрассудков против евреев.

Ко всем перечисленным причинам надо прибавить еще одну. Непрерывный рост цен на сельскохозяйственные продукты заставлял крестьян-собственников и арендаторов владений эмигрантов не спешить с продажей своего хлеба, дабы дожидаться еще более благоприятных цен и условий продажи. К этому их побуждал тот дух алчности, который развился вследствие произведенной революцией конфискации церковных и дворянских земель и создания ею класса крепких земельных собственников. Дух наживы царил среди улучшившего свое материальное положение крестьянства, стремившегося накопить еще больше денег для более выгодного и рационального ведения своего хозяйства. Для борьбы с этим Конвент постановил, чтобы все арендаторы и лица, обрабатывающие землю эмигрантов и непроданные еще участки, принадлежащие к национальным имуществам, уплачивали свою арендную плату натурой, которая поступает в распоряжение военного ведомства на нужды снабжения армии.

Эта милитаризация продуктов с владений эмигрантов вместо улучшения положения вела только к его ухудшению, ибо лишала вольный рынок значительной части хлеба, цена которого вследствие этого неизбежно должна была еще более вырасти. Вместе с тем она вооружала против революции довольно значительный класс фермеров, т.-е. крестьян—земледельцев.

Рост цен на хлеб и другие необходимые предметы питания, низводивший рабочих—городских и сельских—на самый низкий уровень существования, неизбежно должен был вызвать среди них движение в пользу повышения заработной платы. И действительно, ряд депутатов и многочисленные свидетельства с мест констатируют, что такое движение вспыхивает в это время со стихийной силой в различных местах Франции, доходя в отдельных случаях до отказа от работы на прежних условиях, т.-е. до *стачки*. Некоторые члены Конвента приписывали это движение проискам контр-революционеров; и возможно, что мятежные священники и другие враги республиканского режима пользовались этим движением для своих целей, но не подлежит сомнению, что корни его лежали в экономической действительности и что оно стихийно, произвольно вызывалось невозможностью для рабочих переносить безропотно все растущее повышение цен. Историки революции не дают нам точной картины

этого движения, но отдельные косвенные указания, сохранившиеся от этой эпохи, позволяют предполагать, что движение это было значительным и что, когда через некоторое время Конвент вынужден был прийти к установлению продовольственного „максимума“ (твердых цен на предметы питания) и *минимума* заработной платы (повышение ее на $\frac{1}{8}$ по сравнению с средней платой 1790 года), он действовал под давлением рабочего движения и фиксировал в законе то, что уже было достигнуто непосредственной классовой борьбой.

Иначе и быть не могло: в условиях демократического режима республики рабочие не могли мириться с полуголодным существованием; они сознавали свое значение в республике и желали его использовать для улучшения своего материального положения, или, по крайней мере, недопущения его ухудшения. К тому же призыв массы здоровых рабочих в армию, лишая промышленность и сельское хозяйство свободных рабочих рук, облегчал им борьбу, придавая силу и вес их коллективным требованиям о повышении заработной платы.

Движение рабочих шло в это время, как и теперь, по двум главным руслам: с одной стороны, они добивались понижения цен на предметы питания, требуя установления государственной властью твердых цен (форма *политической борьбы*); с другой, непосредственной борьбой они добивались от предпринимателей, земельных собственников, арендаторов и промышленников повышения заработной платы (*экономическая борьба*). Это массовое движение нарушало, конечно, на каждом шагу закон Шапелье, изданный в 1791 г. Учредительным Собранием и воспрещавший рабочим коалицию, но стихийный его характер лишал ограничения закона всякой действительной силы.

Двойное движение в пользу установления твердых цен и минимума заработной платы нашло себе яркое выражение в ряде петиций, обращенных к Конвенту. Если еще в январе 1792 г. делегации в Законодательное Собрание, протестуя против вздорожания, ограничивались довольно туманным требованием принятия мер против спекулянтов, то теперь смелость и сознательность пролетариата выросли настолько, что он уже формулирует вполне конкретные требования, развивает целую программу законодательных мер. В этом отношении чрезвычайно пока-

зательна петиция избирателей департамента Сены и Уазы, оглашенная в заседании Конвента от 19-го ноября.

„Первый принцип,—гласит она,—который мы излагаем перед вами, заключается в следующем: свобода торговли хлебом несовместима с существованием нашей Республики. Из кого состоит наша Республика? Из небольшого числа капиталистов и из большого числа бедняков. Кто занимается торговлей хлебом? Небольшое число капиталистов. Для чего занимаются они торговлей? Ради обогащения. Каким способом они обогащаются? Повышением цены на хлеб при продаже его потребителям.—Обратите также внимание на то, что этот класс капиталистов и собственников, благодаря неограниченной свободе торговли устанавливающий цену на хлеб, вместе с тем устанавливает и цену на труд. Ибо всякий раз, как он нуждается в рабочем, к его услугам является целых десять, и он имеет свободный выбор из них; и его выбор останавливается на том, кто требует меньше. Он устанавливает заработную плату, которой рабочий подчиняется, нуждаясь в хлебе... Таким образом небольшое число капиталистов и собственников является господином положения при установлении цены на труд. Вместе с тем неограниченная свобода торговли хлебом делает их господами положения при установлении цены на предметы первой необходимости. Их корыстные интересы заставляют их считаться только с собственной жадностью. Отсюда проистекает поразительное несоответствие между ценой на труд и ценой предметов первой необходимости. Заработной платы не хватает для того, чтобы прожить. неизбежным следствием этого является угнетение всякого человека, живущего трудом своих рук“.

„Неограниченная свобода торговли хлебом,—продолжает петиция,—подавляет самый многочисленный класс народа. Народ не может этого выносить. Она несовместима с нашей Республикой... Мы приходим таким образом ко второй истине: закон должен позаботиться о продовольствии Республики и о существовании всех“.

Исходя из этих соображений, петиция требует „строгого соответствия между ценой хлеба и заработной платой. Закон должен установить эту пропорцию, которой препятствует неограниченная свобода“. Практические меры, требуемые петицией,

сводятся к следующему: установление максимума—твердых цен на хлеб, соответствующих издержкам его производства; запрещение торговли хлебом всем, кроме булочников и мельников; запрещение арендаторам продажи своего хлеба посредникам и торговцам и вне пределов ближайшего рынка; запрещение аренды земли сверх определенных размеров и уплаты арендной платы зерном; наконец, передача дела продовольствия в руки избираемых народом центральных властей. Эти меры приведут к „изобилию хлеба и точному соответствию между его ценой и заработной платой, к восстановлению спокойствия, счастья и благоденствия всех граждан“.

Авторы этой петиции исходят из двух руководящих идей: идеи экономистов о том, что рабочие оплачиваются, вследствие взаимной конкуренции между ними, по минимальной расценке, и благодаря этому своего рода „железному закону“ они являются совершенно беззащитными и не могут собственными усилиями повысить заработную плату; и идеи о государственном вмешательстве, не допускающем падения заработной платы ниже необходимых для существования средств пропитания. Отсюда их двойное требование: максимальных цен на хлеб и минимума заработной платы.

Так, благодаря росту цен народное движение выливается в форму требования от государства взять на себя заботу о продовольствии населения. Трудящиеся начинают противопоставлять себя *как класс* уже не только дворянству или экспроприированному духовенству, но и капиталистическому меньшинству, крупным земельным собственникам буржуазного происхождения и крупным арендаторам, стремясь добиться своих требований посредством вмешательства государственной власти в экономические отношения, при помощи демократии.

В течение октября и ноября подобная агитация за установление твердых цен энергично велась в нескольких департаментах. Некоторые комиссары Конвента старались изобразить это движение то как контр-революционное, то как анархическое, запугивая Конвент призраком „аграрного закона“. Но это движение, независимо от использования его контр-революционными элементами по существу своему не имело ничего общего с целями этих последних: это движение было народным и пролетар-

ским протестом против дороговизны жизни; это было *классовое* движение, имевшее свои собственные принципы, программу и тактику. И оно в некоторых случаях проявлялось с такой силой, что власти вынуждены были идти ему на уступки. Так, после беспорядков рабочих стекольных заводов в Монмиропле комиссары Конвента установили твердые цены на главнейшие предметы продовольствия и другие предметы народного потребления (железо, обувь) для этого округа.

Движение сельских рабочих против собственников и арендаторов принимало временами очень обостренный характер, и его буржуазные противники вспомнили Моморо и его агитацию в пользу аграрного закона, чтобы опорочить это движение. Но насколько далеки были массы от этих идей, видно из того, что в эту именно пору Моморо считал нужным смягчить свои первоначальные требования, доказывая, что установление твердых цен не нарушает принципа собственности.

Но социальное движение низших слоев народа несомненно носило в себе зародыши социализма, и нашлись в это время идеологи, которые пытались дать формулировку стремлениям к коренным экономическим преобразованиям. Укажем, напр., на аббата Доливье, требовавшего, правда, в неопределенной форме летом 1792 года коренного разрешения вопроса о земельной собственности. Еще более интересными являются взгляды лионца Ланжа, в сочинениях которого, бесспорно, отразились социальные и классовые противоречия и социальная борьба, имевшие место в таком крупном промышленном центре, как Лион, и которого в некоторых отношениях можно считать предшественником Фурье и современного кооперативного социализма.

Еще в 1790 году Ланж опубликовал в Лионе „Жалобы и заявления гражданина, объявленного законом пассивным, к гражданам, признанным активными“. В страстном и горячем тоне он протестует против деления граждан на активных (пользующихся избирательным правом) и пассивных (лишенных его), установленного Учредительным Собранием, подчеркивая при этом, что это деление поражает не только пассивных граждан, но и самых активных, лишая их в борьбе с привилегированными поддержки народных низов. С характерной для всех утопистов верой в сильную личность, в героя, Ланж обращается к королю за за-

щитой трудящихся, лишенных прав, вследствие своекорыстия собственников.

„Всюду, государь,—пишет он,—куда ни обратите ваш взор, вы не увидите земли, которую мы не занимали бы; это мы работаем, мы являемся первыми владельцами, первыми и последними, обрабатывающими землю. Тунеядцы, называющиеся собственниками, могут пожинать плоды только при помощи нас; это доказывает, по меньшей мере, наше право на совладание с ними. Но если мы естественно являемся совладельцами и единственным источником всякого дохода, то право, ограничивающее наши средства существования и лишаящее нас прибыли, есть право грабителя“. И Ланж предлагает королю экспроприировать земельных собственников, поделив чистый доход от земли между ним—королем—и производящим народом.

В этих взглядах Ланжа мы видим смешение принципов демократии и социалистического утопизма, ищущего разрешения социальной проблемы в доброй воле монарха.

В 1792 году Ланж, ставший к этому времени членом лионского муниципалитета, выпускает новую брошюру: „Простые и легкие средства установить изобилие и справедливую цену хлеба“. На этот раз он уже обращается не к королю, а к лионскому муниципалитету и Национальному Собранию и вместо идеи общей экспроприации выдвигает ряд совершенно конкретных мер в области продовольствия, целую экономическую систему.

В основу своей системы Ланж кладет интересы потребителей; он требует, чтобы цена естественных припасов определялась не произволом собственников и торговцев, как это имеет место теперь, но средствами, которыми располагают потребители. Для осуществления этой системы все потребители, взятые вместе, должны будут скупать на заранее установленных или постоянных условиях весь урожай у совокупности всех собственников и торговцев, организуясь в ряд семейных товариществ, действующих солидарно между собой. Организация таких товариществ должна иметь совершенно добровольный характер и сами они—быть вполне автономными. Обращаясь и к продавцам и к потребителям, Ланж доказывает им, что и те и другие выгадывают от предлагаемой им системы: первые—потому, что не

подвергаются торговому риску, имея верный сбыт своим товарам, вторые—потому, что получают обеспечение продовольствием, с сохранением расходов на перевозку и т. д. Наконец, от этой системы выигрывают и лица, не принадлежащие ни к той, ни к другой категории, ибо они также без хлопот и затруднений будут получать необходимый им хлеб.

Характерно, что Ланж, так же, как впоследствии Фурье, создавая план ассоциации, обращается с одинаково горячим словом убеждения ко всем классам общества, полагая, что они в равной мере воспользуются ее благами. Характерна также надежда, возлагаемая Ланжем на самостоятельность населения. „Перестаньте только,—пишет он,—рассчитывать на средства и добрую волю отдельных лиц, даже на добрую волю и средства правительства и властей. Откройте, наконец, глаза и вы увидите, как первые корыстны и способны к злоупотреблениям, как вторые слабы, опасны и вероломны“.

Стремясь к созданию системы свободной ассоциации потребителей, Ланж противопоставляет ее как замкнутым средневековым корпорациям, так и системе революции, подозрительно относившейся к ассоциациям. В отличие от средневековых корпораций, проектируемая Ланжем ассоциация должна иметь неограниченный характер, расширяясь до пределов всей нации. „Если необходимо сотрудничество, ассоциация людей, способных вести и установить изобилие вплоть до последней маленькой лачуги, если счастье народа может родиться и существовать только при помощи товарищества, то надо это товарищество создать и притом без промедления; но для того, чтобы, несмотря на свои размеры, оно не могло послужить почвой для исключительных привилегий и чтобы монополия и спекуляция ни для кого не представляли выгоды, необходимо его слить с нацией и организовать так, чтобы с его стороны стали невозможны какие бы то ни было привилегии“.

С этой целью Ланж предлагает, чтобы государственная власть открыла подписку на миллион 180 тыс. акций по тысяче ливров каждая; вся эта сумма должна быть разделена на 30 тысяч одинаковых частей, каждая из которых будет состоять из 60 акций, могущих в случае необходимости, подлежать дальнейшему делению. Эти 60 акций будут служить продовольствен-

ным фондом для обеспечения зерном, хлебом и овощами ста семейств на 2 года; эти сто семейств сообща будут владеть и с удобством пользоваться полными амбарами". На счет нации должны быть построены по одному плану и под авансы акционеров 30 тысяч амбаров с тем расчетом, чтобы они находились в возможно более близком расстоянии к центру пребывания каждой сотни семейств. „При каждом сборе урожая, общественное продовольствие, не препятствуя конкуренции, делается обязательным таким образом, чтобы в срок, установленный законом, в каждом амбаре находилось достаточное количество продуктов для прокормления приблизительно 1500 человек, т.-е. чтобы сто семейств в течение двух лет были обеспечены в изобилии всем необходимым". Все земледельцы вступают в соглашение с товариществом о доставке производимых ими продуктов, об обеспечении урожая, страхования его от града, пожаров и т. д. В свою очередь, товарищество обязано доставить хлеб всем потребителям Франции по одной и той же твердой цене, составляющей среднюю, выведенную на основании трех последних урожаев.

В системе Ланжа мы видим многие элементы будущего фурьеизма: организацию и урегулирование капитализма (организацию товарищества на паях-акциях), коллективизм (выпуск акций государством и организация им по единому плану амбаров и всей системы продовольствия), кооперацию, мютюализм (взаимность) и гарантизм, добровольное соглашение потребителей, основанное на взаимных услугах и страховании.

Свою систему Ланж думал распространить из области сельского хозяйства и на городскую промышленность, где на основе тех же принципов должны быть организованы акционерные промышленные товарищества. Подобно Фурье, Ланж верил в то, что его систему возможно осуществить, но в отличие от него, он обращался теперь для ее осуществления не к королю, не к отдельным миллионерам, а к нации, творившей великую революцию.

Система Ланжа была, однако, слишком сложна, чтобы ее можно было принять; для смягчения продовольственного кризиса необходимы были меры более непосредственные. И вот Конвент, под давлением все растущей агитации, в ноябре 1793 г.

принял компромиссный декрет, сохраняющий свободу торговли и исключаящий твердые цены, но вводящий обязательный учет хлеба у его владельцев и обязывающий продавать его по первому требованию властей. В связи с этим декретом и вопросом, вызвавшим его на свет, завязалась ожесточенная борьба между сторонниками свободы торговли и невмешательства государства в экономическую жизнь и сторонниками вмешательства государства. Первые отстаивали интересы земельных собственников и арендаторов, указывая, что вмешательство государства приведет к гибели сельско-хозяйственной культуры и приостановке производства.

Некоторые из них грозили переменить отношение этих классов к революции, и в их речах слышались предвестники будущей контр-революции, обнаружившейся в этих классах при Директории и Консульстве. В этом отношении характерна речь депутата Конвента Серра. „Требуют, — говорил он, — умеренных цен на хлеб, но умалчивают о других товарах. Почему же в самом деле собственность на хлеб в глазах закона менее священна, чем другой вид собственности? Меня отдают произволу торговца железом, сукном и принуждают продавать им продукт моего труда за определенную цену... За то, что земледelec больше всякого другого пожертвовал революции своими денежными интересами, вы хотите подчинить его самым разорительным и тираническим формам угнетения, каких он не знал никогда при феодальной системе!.. Итак, граждане-землепашцы, выгоды, которые вам обещала революция, оказались для вас обманчивой иллюзией!" И, обращаясь к Конвенту, Серр пускал в ход угрозу: „Если вы потребуете насильственного применения этих законов, вы неизбежно восстановите одних граждан против других и гораздо больше послужите на пользу австрийскому тирану, чем телохранители герцога Брауншвейгского, или самым скорейшим путем приведете к королевской власти“.

Напротив, сторонники государственного вмешательства и политики твердых цен обрушивались на арендаторов, как на источник бедствий, и спекулянтов, требуя (Беффруа) суровых мер против спекуляции, запрещения снятия в аренду участков выше определенных размеров или уничтожения самого класса собственников. Так, депутат от Вандеи Файан говорил; „В рес-

публике этот вид торговцев должен исчезнуть. Уничтожьте, законодатели, этих жадных людей, которые стали бы продавать воздух, которым дышат им подобные, если бы имели возможность завладеть им“.

Конвент в целом не занял определенной позиции в этом важном вопросе, предложив обоим течениями формулировать отдельно свои взгляды. Несомненно, однако, что, независимо от принципиального отношения к вопросу, в этот период нарушенного экономического равновесия, страшного роста цен, непрерывного увеличения выпуска бумажных денег, огромных расходов на войну, спасти революцию могло только решительное вмешательство государственной власти в экономические отношения.

Большой заслугой Сен-Жюста является то, что он, один из немногих и глубже других, понимал в этот момент серьезность положения и грозящие революции опасности. В этот период он являлся сторонником единства революционных сил, полагая, что раздоры партии приведут революцию к гибели. При этом Сен-Жюст глубже Робеспьера, почитателем которого он был, понимал экономические проблемы.

В своей речи от 29-го ноября он исходит из того, что все бедствия проистекают от „дурной системы нашей экономики“. В сильных выражениях он характеризует создавшуюся в стране анархию: „В ужасном состоянии анархии, переживаемой нами, человек, уподобившийся дикому животному, перестал признавать над собой всякую законную узду; нет больше законов; нет судей, и все представления о справедливости заглушаются насилием и преступлением вследствие отсутствия гарантии; всякий действует сам по себе и считает себя естественной частицей законодателя и власти, и представление о том, что каждый сам может установить порядок, ведет к общему беспорядку“. „Если вы хотите республики,—продолжал он,—сделайте так, чтобы народ имел мужество быть добродетельным; без гордости не может существовать патриотических добродетелей, а гордости не может быть в состоянии несчастья“. Ибо „несчастный народ не имеет отечества“, и, „если вы хотите основать республику, вы должны постараться извлечь народ из состояния необеспеченности и нищеты, губящей его“.

Сен-Жюст отдает себе ясный отчет в причинах экономических затруднений: „Нарушение правильности системы торговли хлебом со времени революции,—говорит он,—порождено беспорядочным выпуском денежных знаков... У нас слишком много денежных знаков и слишком мало продуктов“. Благодаря этому нарушено экономическое равновесие, и цены на все продукты повышаются. И столь же ясен, сколько и мрачен, делаемый им прогноз: „Когда я прохожу по этому большому городу, я вздыхаю, думая об ожидающих его бедствиях и ожидающих и другие города, если мы не предупредим окончательного крушения наших финансов. Наша свобода пронесется быстро, как вихрь, а наше торжество, как раскат грома“.

Обрисовав экономическое положение страны, приостановку промышленной и торговой жизни, которая губительно отражается на всех классах населения и должна привести к падению значения Франции на мировом рынке, Сен-Жюст переходит к положению крестьян:

„Крестьянин, не желающий более накапливать бумажек, не охотно продает свой хлеб. При всякой другой торговле надо продавать, чтобы жить от своих продуктов. Крестьянин, напротив, не покупает ничего. Торговля не дает его потребностям ничего. Этот класс привык накапливать сокровища, превращая в них часть продукта своей земли; теперь он предпочитает сохранять свой хлеб, чем превращать его в бумагу“.

В итоге положение рисуется в следующем виде: „Как испанцы благодаря изобилию золота, так мы бедны вследствие изобилия денежных знаков при отсутствии в обращении съестных припасов. У нас нет в торговле ни стад, ни шерсти, ни предметов промышленности. Производительные работники находятся в армии“...

Где же выход из положения?

Прежде всего надо было бы, конечно, окончить войну. Сен-Жюст не решается прямо сказать это, но он выражает надежду, что победоносный мир облегчит состояние государственных финансов. Необходимо далее установить прочный курс ассигнаций, во-первых, гарантируя общественный кредит установлением единства Франции и отпором всяким федералистским стремле-

ниям; во-вторых, сокращением их выпуска, что можно осуществить продажей по дорогой цене национальных имуществ.

Несмотря на все вышеописанные затруднения и опасности, грозившие молодой республике, ее положение не было безнадежным: ни финансовые затруднения, ни все растущее нарушение экономического равновесия, ни роялистские заговоры, ни интриги духовенства не могли бы сломить революционных сил, если бы внутри их не происходило раскола.

Ответственность за этот раскол внутри демократии целиком падает на Жиронду, которая, оказавшись в Конвенте в большинстве, с первых же дней обнаружила непримиримость и нежелание действовать в единении с другими группами, стремясь к безраздельному господству и влиянию. Первым шагом ее в этом направлении было избрание бюро и президиума Конвента исключительно из состава своей партии; даже в важнейшую комиссию Конвента—Конституционный комитет—она среди подавляющего большинства своих сторонников включила одного только Дантона из числа монтаньяров.

Положение жирондистской партии было в самом деле, с первого взгляда, чрезвычайно благоприятным. Военные успехи революционных армий, казалось, оправдывали ее воинственную политику и дискредитировали Робеспьера, который долгое время противился об'явлению войны. Вообще влияние и Робеспьера и Марата в это время было сильно подорвано, и им приходилось занимать оборонительную позицию. В особенности тяжело было положение Марата, к которому после сентябрьской резни с недоверием и, частью, презрением стали относиться очень многие даже среди крайних элементов. Чтобы вновь завоевать утраченное влияние, Марату пришлось принять совершенно несвойственный ему умеренный тон и заняться самооправданием. И прежде всего ему необходимо было защититься от обвинений в подстрекательстве к сентябрьским убийствам и в стремлении к диктатуре. Он не отрицает, что в виду опасностей, грозивших революции, он высказывался за вручение диктаторской власти одному лицу (диктатору или военному трибуну) или триумвирату, но подчеркивает, что эта диктатура должна была по его мнению, быть временной и при том чрезвычайно непродолжительной, пока не будет устранена опасность торжества контр-революции.

Что касается сентябрьских убийств, то Марат не отрицает своего участия в связанном с ними движением, но оправдывается тем, что движение это было непреодолимо—стихийным и что он не призывал к убийствам, а был лишь пассивным зрителем творимого народом правосудия.

Итак, неукротимый Марат вынужден был оправдываться, и это уже делало безвредным его склонность к эксцессам. Но жирондисты, метя дальше Марата—в Робеспьера и Дантона—не были удовлетворены этим и продолжали свой поход против представителей парижской демократии, вместо того, чтобы начать проводить в жизнь положительную революционную программу, способную об'единить вокруг них все революционные силы и стать таким образом средоточием национальной воли. Программа эта должна была бы сводиться к установлению революционного порядка на место административной анархии, введению принципа ответственности и порядка в учреждениях военного ведомства, организации войны с целью скорейшего достижения победы и завоевания Францией почетного положения среди других государств Европы, обеспечивающего развитие ее национального благосостояния. Эта программа соответствовала стремлениям Дантона, и в ней не было ничего принципиально неприемлемого для жирондистов; ее целиком разделял, например, близкий к Жиронде Кондорсе. Но жирондисты не пошли по этому пути, предпочтя ему путь раздоров, интриг и междоусобной войны. В особенности в этом направлении старались Ролан, его жена и Бюзо. Ролан, в качестве министра внутренних дел, не устал, пользуясь всякими ничтожными поводами, в роде мелких случаев нарушения закона или порядка, рисовать Конвенту в мрачных красках анархию, царящую в стране, чтобы кивать на смутьянов и нарушителей порядка из среды деятелей Парижской Коммуны, чтобы дискредитировать анархический Париж, в противовес патриотической Франции.

Страх перед анархией и сеющими смуту заговорщиками был так велик среди жирондистов, что их оратор (Керсен) впервые заговорил в Конвенте о необходимости эшафотов для борьбы с преступниками и подстрекателями к преступлениям.

Большую роль в завязывавшейся борьбе партий сыграл поднятый Бюзо вопрос о создании специальной гвардии, наби-

раемой в департаментах для охраны Конвента, якобы подвергающегося опасности со стороны всевозможных заговорщиков. „Общественная сила, которой я требую,—говорил в обоснование своего предложения Бюзо,—это—сила, посылаемая всеми департаментами; ибо я принадлежу не Парижу, не какому-либо одному департаменту, а всей Франции“. В этом замечании уже чувствовалось то недоверие к Парижу, стремление лишить его руководящей роли в революционных событиях, которое в дальнейшем характеризовало всю политику жирондистов. Внося свое предложение, Жиронда хотела взять реванш за поражение на парижских выборах. И она его взяла: 24-го сентября Конвент принял декрет, назначающий шесть комиссаров для: 1) составления доклада о положении республики и в особенности города Парижа, 2) представления проекта закона против призывов к убийству и грабежам; 3) создания общественной силы для охраны Национального Конвента, находящейся в его распоряжении и набираемой в 83 департаментах.

На следующий же день Дантону, Робеспьеру и Марату представился случай высказаться в Конвенте по поводу бросаемых им обвинений в стремлении к диктатуре.

Сославшись на свое бескорыстное служение свободе, Дантон решительно заявил о своей несолидарности с Маратом, хотя и старался об'яснить крайности последнего теми преследованиями, которым он долгие годы подвергался. Указав далее, что не интересы Парижа или отдельных департаментов, а всей Франции и общественного блага, должны лежать в основе деятельности Конвента, Дантон своими практическими предложениями занял среднюю позицию между увлечениями крайних и ограниченностью жирондистов: „Бесспорно нужен строгий закон против тех, кто хочет уничтожить общественную свободу. Прекрасно! Примем этот закон. Примем закон, грозящий смертной казнью всякому, кто выскажется в пользу диктатуры или триумvirата. Но установив основы, гарантирующие царство равенства, уничтожим также губящий нас дух партийности. Утверждают, что среди нас есть люди, намеревающиеся раздробить Францию на части; заставим рассеяться эти нелепые идеи, установив смертную казнь для их носителей. Франция должна быть неделимой, она должна иметь единое представительство. Я требую

смертной казни для всякого, кто пожелал бы разрушить единство Франции, и предлагаю декретировать, что Национальный Конвент в основу управления, которое он установит, кладет единство представительства и исполнительнй власти. Пусть затрепещут австрийцы, услышав о такой священной гармонии,—тогда, клянусь вам, наши враги будут раздавлены“.

Робеспьер, встреченный Конвентом чрезвычайно холодно и враждебно, в растянутой речи говорил о своих заслугах, закончив присоединением к практическим предложениям Дантона.

В свою очередь Марат, неоднократно прерываемый угрозами и выражениями презрения, восхвалял себя, доказывал необходимость сентябрьской резни, вытекавшей из настроения парижского населения, и заявлял, что ответственность за нее он несет вместе со всем народом. „Повинуясь моему призыву,—говорил он,—народ почувствовал, что единственное средство спасения родины—то, которое я предлагал“. Впоследствии Марат стал высказываться в совершенно противоположном смысле, обвиняя в подстрекательстве в эти дни к убийствам контр-революционеров и таким образом вступая в кричащее противоречие со своими прежними утверждениями.

Но если Марат, благодаря крайностям и противоречиям, в которых он запутался, все больше терял в своей бывлой популярности, то и жирондисты, благодаря своему ослеплению и отличавшему их политику духу партийной исключительности, стали постепенно лишаться симпатий и доверия тех элементов, которые вначале сочувствовали им. Так, первоначально в клубе якобинцев сочувственно была встречена идея создания революционной охраны Конвента, набираемой в департаментах: поскольку жирондисты уверяли, что эта мера не направлена против Парижа, она казалось направленной к единению революционных сил Парижа и всей Франции. Якобинцы даже не возражали против предложения Барбару о том, чтобы эта охрана состояла из буржуазной молодежи,—из людей, имеющих достаточные средства для пребывания в Париже. И только несколько позже якобинцы поняли, что за этим предложением кроется желание создать вооруженную силу *против Парижа* и его демократии. В речи Кутона в якобинском клубе от 12-го октября особенно явственно звучит зарождающееся недоверие к политике жирон-

дистов. „Граждане,—говорил он,—никогда еще не было так необходимо объединение истинных друзей народного счастья и суверенитета. Нельзя скрывать: в Конвенте существуют две партии. Есть партия людей с крайними принципами, непригодные средства которых ведут к анархии; и есть другая партия людей—тонких, чувствительных, интриганов и, в особенности, чрезвычайно горделивых; они, конечно, желают республики, но потому, что общественное мнение высказалось в ее пользу; но они желают аристократии, стремясь увековечить свое влияние, распределив между собой все места и должности и особенно богатства Республики... Эта фракция желает свободы только для себя. Необходимо поэтому, чтобы люди действительно чистые и честные приняли твердое решение и объединились здесь... Первой мерой должна быть приостановка проекта так называемой гвардии безопасности Национального Конвента, предложенного комиссией на основании заслуживающих уважения побуждений. В первый момент я сам принял этот проект, так как думал, что он приведет к еще большему усилению братской связи между департаментами и имеет целью освятить единство Республики. Но способ составления Конституционного комитета открыл мне глаза. Теперь я усматриваю в этом проекте только желание создать силу, чтобы дать одной фракции средства приостанавливать или оказывать давление на все прения в Конвенте; суверенитет народа будет сведен к нулю, и мы увидим зарождение аристократии чиновников“.

Другим вопросом, подавшим повод к конфликтам, был вопрос о перевыборах департаментских советов и муниципалитетов. Парижская Коммуна и некоторые парижские секции высказались за то, чтобы на этот раз выборы производились открытой подачей голосов. Некоторые секции предприняли даже коллективные шаги для воздействия в этом отношении на Конвент, который единодушно, включая самых крайних своих членов, стоял за сохранение системы тайных выборов. Тем не менее этот случай дал повод жирондистам напасть на революционный Париж, который якобы противопоставляет себя всей Франции, а Бюро—обрушиться с яростной речью против якобинцев за непризнание ими департаментской гвардии для охраны Конвента. Отзывы печати по поводу этого инцидента свидетельствуют, что не-

умеренность жирондистов начала отталкивать от них тех, кто вовсе не склонен был солидаризироваться с монтаньярами (напр., газета „Парижская революция“). Даже более умеренные жирондисты, в роде Кондорсе и Карра, печатно высказались против жирондистского проекта охраны. Кондорсе, в частности, предупреждал об опасности политики, снова поднимающей вопрос о сентябрьской резне, политики, направленной против Парижской Коммуны и угрожающей перейти в нападение на самые принципы республики и революции.

В ответ на обвинение Бриссо против Коммуны, якобинцы потребовали от него объяснений и после его отказа исключили его из своей среды. Не ограничиваясь этим, они опубликовали воззвание против министра внутренних дел и его фракции, излагающее сентябрьские события и отмечающее упреки жирондистов против Парижской Коммуны и монтаньяров. Отпор, данный якобинцами Жиронде, был поддержан чрезвычайно искусным, сдержанным и тактичным поведением Марата и Робеспьера. Марат в эти дни обнаружил необычную для него умеренность даже по отношению к жирондистам, обвинявшим его чуть ли не в том, что он является наемным агентом пруссаков. „Я прощаю им их оскорбления,—писал он,—они способны только разоблачить их самих, и публика трибун, сохранявшая молчание при громе повторных аплодисментов со стороны клики-Бриссо, должна была спросить себя с удивлением, откуда проистекает ожесточение стольких священных законодателей против защитника народа“. И по вопросу о способе голосования Марат сохранял ту же умеренность, заклиная недовольные решением Конвента секции „не вступать в настоящее время в борьбу с законодателем“. Ибо „как ради их собственных интересов, так и ради его славы необходимо окружить Конвент уважением“; лишь тогда придет время „оказать ему сопротивление, если он когда-нибудь нарушит права народа и граждан“.

Марат, неистовый Марат, призывает Париж к спокойствию, опасаясь, что паника может заставить Конвент покинуть Париж, что он считал гибельным для дела революции. С этой точки зрения он отрицательно относится к петиции рабочих, требовавших замены сдельной платы поденной, подозревая в этом

движении происки контр-революционеров, которым выгодно нарушение порядка.

И ту же политику умеренности и предусмотрительности Марат проводит и в якобинском клубе. В его заседании 12-го октября он говорил, между прочим: „В недрах Национального Конвента обнаружилась преступная фракция. Она повидимому имеет в настоящее время такое же руководящее влияние, какое имела раньше в Законодательном Собрании. Уже 15 месяцев я преследую ее. Она питает разрушительные планы, призывая на свою поддержку преторианскую гвардию. Она хочет увлечь Коммуну на незаконный путь, чтобы иметь предлог покинуть Париж. Граждане, будьте спокойны! Друг Народа (так называл себя Марат по имени своей газеты) призывает вас к мудрости и умеренности. Только вчера я раскрыл секрет этой фракции, сказав ей: „Вы не знаете или делаете вид, что не знаете мотивов наших требований; дело в том, что мы не желаем федеративной республики“. При этих словах на их лицах отразилась подавленность. Поверьте мне, граждане, фракция стремится к своей гибели; она изойдет в мерах насилия. Будьте умеренны: через несколько дней, она будет разоблачена“.

Ту же проницательность Марат обнаружил, говоря, что задуманная жирондистами преторианская гвардия в конечном счете обратится против них самих. Умеренность Марата объясняется тем, что он понял, что кровавые сентябрьские события содействовали усилению контр-революции, что проповедь идеи о военном трибуне дает повод обвинять его в стремлении к диктатуре, он понял также, что единство действия и воли Конвента и парализование интриг жирондистов может быть достигнуто только посредством влияния общественного мнения, а не насилия со стороны демократии.

Но несмотря на умеренность, проявленную Маратом, бешеные нападки на него со стороны жирондистов не прекращались ни на минуту. Ослепленная ненавистью, партия Ролана и Бриссо, нападая на своих противников, не отдавала себе отчета в том, что ее политика ведет к гибели прежде всего ее самое.

29-го октября Жиронда сделала попытку нанести решительный удар партии Горы, уничтожив и Марата и Робеспьера.

Против них и против Парижской Коммуны с обвинительным актом выступил сам министр внутренних дел Ролан. Коммуна, по его словам, сознательно не предприняла ничего для того, чтобы дать пристанище и жилище и доставить все необходимые удобства прибывшим в Париж для защиты революции федератам (марсельцам и жителям других департаментов). Коммуна открыто не проповедует „принципы революции и убийства“ и несомненно, что к этой агитации, встречавшейся аплодисментами парижской толпы, приложили свою руку контр-революционные заговорщики. прикрывающиеся личиной патриотизма и рассчитывающие „возвыситься на развалинах и трупах, насытившись кровью, золотом и жестокостью“.

Вот в каких мрачных красках Ролан рисует создавшееся положение вещей:

„Департаменты разумны, но не имеют власти. Коммуна активна и деспотична. Народ превосходен, но здоровая его часть запугана или действует по принуждению, тогда как другая часть руководится лстецами и возбуждается клеветой. Смещение властей, злоупотребление и пренебрежение к авторитетам; слабость или ничтожное значение общественных сил вследствие плохого управления,—таков Париж“.

В заключение доклад Ролана приводил анонимное письмо, полученное из полицейских источников; письмо это, уличавшее Робеспьера в составлении заговора против вождей жирондистской партии, было сшито бешими нитками и носило на себе явный отпечаток своего полицейского происхождения. Несмотря на вздорность обвинения, Ролан не постеснялся огласить его с трибуны Конвента, и большинство последнего вместе с жирондистским председателем Гаде не дало Робеспьеру слова, чтобы оправдаться от взводимых на него обвинений. Под яростные крики жирондистов Робеспьер вынужден был сойти с трибуны, отказавшись от слова. Но на защиту его выступил Дантон, который впоследствии был гильотинирован Робеспьером. Как и всегда, Дантон выступил со словом примерения. „Настало время,—сказал он,—чтобы мы, наконец узнали, чьими товарищами мы являемся; настало время, чтобы наши товарищи узнали, что они должны думать о нас. Нельзя скрывать, что в собрании существует большое недоверие между его членами. Если я го-

ворю истину, которую вы все знаете, то позвольте мне сделать из нее выводы. Так вот, необходимо, чтобы это недоверие перестало существовать, и если среди нас есть виновные, надо чтобы им было воздано по заслугам. Я заявляю Конвенту и всей нации, что я отнюдь не люблю лично Марата. Я откровенно признаю, что испытал на себе его темперамент; он не только слишком вулканичен и едок, но антиобщественен. После подобного признания позвольте мне сказать, что я не принадлежу ни какой партии или фракции. Пусть кто-нибудь попытается доказать, что я поддерживаю какую-нибудь фракцию, с которой меня в настоящее время стараются смешать. Если же, напротив, верно, что моя мысль принадлежит только мне, что я твердо решился скорее умереть, чем быть причиной раздоров и тенденции к раздорам внутри Республики, то я прошу выслушать полностью мои соображения о нашем настоящем политическом положении“.

После этого сильного предисловия Дантон перешел к существу вопроса. Он воздает должное „чувству гуманности“, побуждающему министра внутренних дел и всех добрых граждан „сокрушаться о несчастиях, не отделимых от Великой Революции“. Они правы, требуя строгого наказания тех, кто „явно служил своим личным страстям вместо того, чтобы служить Революции и свободе“, но как может министр игнорировать причины, приведшие к этим печальным событиям (сентябрьским). Ибо „никогда еще не бывало законченной революции без того, чтобы полное разрушение существующего порядка вещей не оказывалось печальным для отдельных лиц; поэтому нельзя возлагать ответственность за подобные явления ни на город Париж, ни на другие города, испытывавшие подобные разрушения, которые могли, конечно, явиться результатом мести отдельных лиц, чего я не отрицаю, но которые скорее явились следствием общего возбуждения, этой национальной лихорадки, произведшей чудеса, которым будет удивляться потомство“.

Ролан действует под влиянием чувства законности и любви к порядку, но вместе с тем он загипнотизирован „духом фракции“, и ему мерещатся большие заговоры против государства. „Проникнитесь той истиной, что в Республике не должно существовать фракций. В ней существуют скрытые страсти, в ней

бывают преступления частного характера, но нет обширных заговоров, могущих нанести удар свободе“. „Все, говорящие о фракции Робеспьера, в моих глазах — или люди предубежденные, или плохие граждане“. Для более свободного и беспристрастного выяснения вопроса Дантон потребовал отсрочки его обсуждения, но жирондистское большинство Конвента, неоднократно прерывавшее возгласами недовольства речь Дантона, отвергло это предложение, решив разом свести счеты с ненавистными противниками.

Со страстной, но необоснованной речью против Робеспьера выступил пылкий жирондист Лувэ, обвиняя его в клеветах и тирании, и неожиданно закончивший свою речь, направленную исключительно против Робеспьера, предложением Конвенту принять обвинительный декрет против *Марата*; по отношению же к Робеспьеру Лувэ нелогично ограничился предложением назначить следственную комиссию для расследования его поведения. Жирондисты не решались без разбора дела осудить Робеспьера, пользующегося еще большой популярностью, но были не прочь безоговорочно осудить всеми ненавидимого Марата.

Но жирондисты ошиблись в расчете: это видно из того, как отнеслось к выступлению Лувэ большинство парижской прессы, которая даже в лице, в общем, близких по настроению к жирондистам органов, характеризовало его как неуместное и необоснованное. Конвент не пошел в своем большинстве за жирондистами и не принял никаких решений. И его отношение к Робеспьеру значительно изменилось, когда, спустя неделю, последний выступил с защитительной речью, весьма искусно и в то же время умеренно построенной. Он дал объяснение сентябрьским событиям, которое отсутствовало у Ролана и на котором настаивал в своей речи Дантон.

„Нас обвиняют в том, что мы послали, в согласии с исполнительным комитетом, комиссаров в несколько департаментов для пропаганды наших взглядов и для соединения их жителей с парижанами против общего врага. Какая идея определила последнюю революцию? Разве падение трона представлялось таким легким до полученного успеха? Ведь дело шло не просто о захвате Тюильри. Ведь необходимо было уничтожить во всей Франции партию тиранов и, следовательно, сообщить всем департа-

ментам спасительное настроение, наэлектризовавшее Париж. И разве власти, призвавшие народ к восстанию, могли пренебречь этой задачей? Дело шло об общественном благе; дело шло об их собственной жизни. И их обвиняют в том преступлении, что они послали комиссаров в другие коммуны, чтобы пригласить их содействовать и укреплять общее дело... Граждане, неужели вы хотите Революции без революции? Как можно подчинить заранее составленному суждению результаты, могущие проистечь из крупных движений? Кто может установить определенный пункт, о который должны разбиться волны народного восстания, ту цену, за которую народ покупает свержение раз навсегда ига деспотизма?.. Утверждают, что погиб один невинный. Можно было бы насчитать большее их количество; но даже один — это, без сомнения, слишком много. Граждане, будем оплакивать это жестокое недоразумение. Мы уже давно его оплакиваем: это, был хороший гражданин, один из наших друзей. Будем оплакивать даже виновные жертвы, ускользнувшие от мщения законов и павшие от меча народной юстиции; но пусть ваша скорбь будет иметь пределы, как и все дела человеческие. Сохраните слезы для более трогательных бедствий. Будем оплакивать сотни тысяч патриотов, зарезанных тиранией; будем оплакивать наших граждан, умирающих в своих разрушенных домах. Но утешайтесь тем, что, став выше всех дурных страстей, вы обеспечите счастье своей страны и подготовите счастье всего мира. Чувствительность, которая сожалеет почти исключительно о врагах свободы, мне кажется подозрительной“.

Речь Робеспьера была покрыта бурными аплодисментами, и Конвент не пожелал слушать возражений Лувэ. Это была огромная победа Робеспьера и непоправимое поражение для Жиронды. По требованию Робеспьера, Конвент принял простой переход к очередным делам и отверг примирительное предложение Барера, мотивировавшего переход к очередным делам тем, что „Конвент занимается только вопросами, касающимися интересов Республики“.

Жирондисты старались затушевать свое поражение указанием на то, что простой переход был принят лишь по недоразумению. Вообще, будучи ослеплены, они старались обмануть самих себя, не видя, что катятся в пропасть, что их влияние

с каждым днем все более падает. К этому же времени относится расхождение жирондистов с министром юстиции Гара и военным министром Пашем, не пожелавшими покорно следовать за Роланами и их друзьями.

Новое поражение ждало Жиронду на перевыборах парижского муниципалитета в декабре 1792 года. Правда, газета Бриссоликовала по случаю поражения монтаньяров, при выборах парижского мэра (избран был не монтаньяр Шамбон) но вслед за тем выборы муниципалитета дали большинство монтаньярам, притом самым крайним, вроде Шометта и Гебера, — заклятых врагов Жиронды, — и Шамбон вынужден был подать в отставку. И эти враги Жиронды начали систематическую борьбу с ней. Особенно отличался в этом отношении Гебер, в своем вульгарном популярном листке „Дядя Дюшен“ осмеивавший и разоблачавший Бриссо, Бюзо и других жирондистов и провозглашавший необходимость новой революции.

Влияние жирондистов заметно падало, но они представляли из себя пока достаточную силу, и никакая другая партия не могла еще стать на их место. И Конвент, пред лицом все усложнявшихся задач революции, не обнаруживал необходимого единства воли и действия, будучи раздираем внутренней борьбой партий.

IV. Казнь короля и падение Жиронды.

Между 10 августа 1792 года — днем низвержения Людовика XVI — и днем его казни, 21 января 1793 года, прошло 5½ месяцев, в продолжение которых вопрос о судьбе короля, о формах суда над ним и наказании, которому он подлежит, вызвал страстные споры и борьбу. Если бы Конвент решил судить короля непосредственно после 10-го августа и под живым впечатлением событий этого дня, ему не пришлось бы столкнуться с теми затруднениями, которые возникли спустя несколько месяцев, когда изгладилось впечатление от народного восстания, свергнувшего короля, и когда блестящие сентябрьские и октябрьские военные победы армий французской республики сменились неудачами и отступлениями.

Юридические вопросы, стоявшие перед Конвентом в связи с судом над королем, были сформулированы 7-го ноября его За-

конодательным комитетом следующим образом: „Подлежит ли Людовик XVI суду за преступления, которые он совершил в качестве конституционного монарха? Кем должен он быть судим? Должен ли он предстать перед обыкновенным трибуналом, как всякий другой гражданин, обвиняемый в государственном преступлении? Должно ли быть предоставлено право судить его трибуналу, образованному избирательными собраниями 83 департаментов, или естественнее, чтобы его судил сам Национальный Конвент? Необходимо ли и следует ли подвергнуть приговор утверждению всех членов республики, собранных в общинные или первичные собрания избирателей?“

Все эти юридические тонкости были совершенно излишни: факт насильственного революционного низвержения королевской власти лишал всякого значения собрания конституционного характера, и естественным судьей короля мог быть только Конвент, воплощавший в себе в этот момент волю всей нации.

Сен-Жюст и Робеспьер пытались выйти из смущавших Конвент юридических противоречий, отрицая необходимость формального суда над королем и предлагая рассматривать его не как подсудимого, а как врага народа.

„Король должен быть судим, как враг, — говорил Сен-Жюст, — его надо не столько судить, сколько поразить... Процесс должен вестись против короля не за преступления, совершенные им во время его управления, но за то, что он — король, ибо ничто в мире не может оправдать этой узурпации, и королевская власть, порождающая иллюзии и условности, составляет вечное преступление, против которого всякий человек имеет право восстать и вооружиться; оно есть одно из тех преступлений, которых не может оправдать даже ослепление целого народа... Всякий король есть мятежник и узурпатор“. Приблизительно в том же смысле, но несколько с иной аргументацией высказался Робеспьер: „Народы судят не так, как судебные учреждения: они не изрекают приговора, — они стреляют; они не осуждают королей, но погружают их в небытие“. Судить Людовика XVI, значит предполагать возможность его невиновности, а его невиновность предполагает преступность восставшей Франции, преступность революции. Эта чересчур прямолинейная постановка вопроса, быть может, понятная в первые дни после 10-го августа, была

теперь неприемлема для подавляющего большинства Конвента. Это выразил в своей речи Марат, обнаруживший в эти месяцы большую политическую проницательность и осторожность. „Суд над Людовиком Капетом, — говорил он в Конвенте, — необходим для просвещения народа, ибо важно убедить в его виновности всех членов Республики“. А в своей газете он писал: „Конвент должен с величайшим спокойствием и рассудительностью высказаться о судьбе бывшего монарха, не столько во имя своей собственной чести, сколько для того, чтобы уничтожить всякий повод к клевете и обвинениям в том, что он при помощи меча нанес удар законам“. Юридические формы нужны „не для того, чтобы спасти тирана, но чтобы сделать очевидными для всех его преступления и доказать всему миру, что, осуждая его, Конвент не осуждает невинного, а воздает только справедливость монарху-заговорщику и судит врага общества, захваченного с оружием в руках“.

Большие колебания и паралич воли обнаружила в эти решительные дни партия жирондистов. Конечно, у нее не было намерения спасти жизнь королю во что бы то ни стало, и в этот момент она не имела в виду содействовать контр-революции, но различные политические соображения вызывали с ее стороны боязнь решительных шагов и желание выиграть время. Запутавшись в предшествующий период в политических интригах и комбинациях, обуреваемая жаждой власти и ослепленная ненавистью к Горе (монтаньярам), усиление которой грозило ее престижу, она не находила выхода из этих противоречий и подходила к вопросу о суде над королем исключительно с точки зрения своих политических и партийных расчетов.

С одной стороны, строя всю свою политику на обвинениях монтаньяров в участии в сентябрьской резне, жирондисты нуждались тем самым на роль защитников гуманности и милосердия. Они как бы предчувствовали, что казнь короля послужит прологом к их собственной гибели.

С другой стороны, вызвав еще во время Законодательного Собрания войну, принесшую Франции столько испытаний, они надеялись, что сентябрьские и октябрьские победы дадут возможность быстро заключить выгодный для Франции мир, который укрепит господствующее влияние их партии, даст им легкую

победу как над „анархией“ крайних элементов демократии, так и над монархической контр-революцией. Смертный приговор Людовику XVI, мог, как им казалось, явиться вызовом союзной Европе и затруднить заключение мира. Но высказаться за сохранение жизни короля они тоже не могли и не хотели; отсюда их стремление оттянуть, насколько возможно, решение вопроса и сложить с себя ответственность за исход процесса. С этой целью жирондисты попытались возложить ответственность сперва за ведение самого процесса, а потом за утверждение приговора на весь народ.

3-го декабря Конвент отверг предложение Робеспьера, чтобы „Людовик XVI, изменник по отношению к нации и враг человечества, был казнен на месте, где 10-го августа погибли защитники свободы“, приняв формулу Петиона: „Национальный Конвент заявляет, что он будет судить Людовика XVI“. В тот же день жирондист Дюко внес предложение о созыве первичных собраний избирателей для утверждения отмены королевской власти и установления республики, для решения вопроса о предании Людовика XVI суду и о том, должен ли он быть судим Конвентом или созданным последним специальным судом. Это предложение имело явную целью отсрочку решения вопроса. Другой жирондист, Бюзо, воспользовался случаем, чтобы произвести атаку на своих противников слева, предложив Конвенту принять декрет, грозящий смертной казнью всякому, кто „предложит восстановить во Франции королей или королевскую власть под каким бы то ни было наименованием“. Конвент единодушно принял тот декрет, метивший в Робеспьера, Дантона и Марата, которых жирондисты неустанно обвиняли в стремлении к диктатуре, образовании триумvirата, поддержке герцога Орлеанского и т. п.¹⁾

1) Жирондистами была во время процесса сделана еще одна попытка отвлечь внимание от короля в сторону якобы монархических симпатий монтаньяров. По предложению того же Бюзо Конвент высказался за изгнание герцога Орлеанского, в симпатиях и сношениях с которым жирондисты обвиняли монтаньяров. Последние не решились голосовать против этого предложения, боясь быть заподозренными в монархизме, как это объяснил впоследствии в клубе якобинцев Робеспьер. Один только Марат определенно заклеил обходный путь, избранный жирондистами для отвлечения общественного внимания от особы Людовика XVI и суда над ним. Декрет об изгнании герцога Орлеанского не был, впрочем, приведен в исполнение.

Обвинительный акт против Людовика XVI содержал в себе все его преступления, совершенные с начала революции, против нее и свободы народа в целях восстановления деспотизма и абсолютизма. Процесс начался 11-го декабря; председателем Конвента на это время был избран Барер, не принадлежавший ни к жирондистам, ни к монтаньярам и с большим умением лавировавший в ожесточенной борьбе этих двух партий. Людовик XVI держался на суде со спокойствием и достоинством, отрицая приписываемые ему преступления и измены своему слову даже тогда, когда они были совершенно очевидны. Защитник короля Десез в искусной речи отметил особый характер процесса: если Людовика судят, как обыкновенного гражданина,—говорил он,—то необходимо соблюдать все юридические гарантии, предоставляемые всякому обвиняемому, а эти именно гарантии отсутствуют в данном процессе; если же его судят, как короля, то он должен пользоваться соответственными королевскими prerogативами и неприкосновенностью, предоставляемой ему конституцией. На самом же деле в этом процессе он „не имеет ни прав гражданина, ни prerogатив короля“. Вместе с тем Десез и другие защитники не решились требовать апелляции к народу, которой желали жирондисты, боясь своей поддержкой скомпрометировать это единственное средство, при помощи которого еще можно было бы надеяться спасти жизнь Людовика XVI.

Замешательство Конвента, вызванное речью Десеза, было, без сомнения, очень велико, и предлагаемая жирондистами апелляция к народу способна была только усилить это замешательство. Перенесение вопроса на решение первичных собраний означало бы неизбежное перенесение начавшейся в Париже партийной борьбы в департаменты, разжигание там гражданской войны и ослабление власти Конвента в момент, который требовал его усиления и концентрации всех сил революции для отражения всех угрожающих ей извне и изнутри опасностей. Самая апелляция к принципу народного суверенитета казалась неискренней в устах жирондистов, которые до того времени отвергали решительно всякое давление народа на Конвент, называя анархией стремление Парижской Коммуны и парижских предместий навязывать ему свою волю. С другой стороны, справедливые опасения жирондистов, хотя и стоявшие в противоречии с их прежними

призывами к войне со всеми тиранами, что смертный приговор королю может усложнить международное положение французской республики, нисколько не оправдывали апелляции к народу: ибо если народ высказался бы в пользу смертной казни, то Англия, Голландия и Испания, не примкнувшие еще к коалиции против Франции, с такой же легкостью сделали бы приговор предложением для вмешательства, как и в том случае, если бы он был произнесен самим Конвентом. И обратно,—если политические соображения безусловно требовали сохранения жизни короля, то зачем было предоставлять решение этого вопроса на усмотрение неспособных оценить этих соображений избирателей вместо того, чтобы самому Конвенту взять на себя ответственность за решение. Но жирондисты не решались брать на свои плечи ответственность за сохранение жизни преступного короля, опасаясь народного гнева, и желали взвалить ее бремя на весь народ. Вот почему большинство из них лично голосовало за смертную казнь, в тайниках души не имея ничего против того, чтобы милосердие народа смягчило приговор. Впрочем, в связи с непоследовательностью политики жирондистов и их колебаниями, среди них не было полного единодушия: так, в то время, как одни из них сами настаивали на том, чтобы Конвент высказался только по вопросу о виновности короля, а первичные собрания определили наказание, другие (Бюзо) стояли за постановление приговора Конвентом, но за утверждение его народом, третьи (Петион), высказывая сомнения, будет ли казнь короля благотворительной для Франции, не давали определенного ответа на вопрос, как лучше поступить.

Затаенную мысль жирондистов — дискредитировать Гору и противопоставить Парижу департаменты — без всяких прикрытий выразил Бюзо: „Достаточно уже и слишком долго наши департаменты были только простыми зрителями событий, которые оказывали влияние на судьбы всей Франции. Пришло, наконец, время обратить внимание каждого из них на то, чем они должны быть в политическом балансе. Суд над Людовиком XVI дает вам к этому случай. Если вы не хотите более быть угнетаемыми кучкой людей, осмеливающихся навязывать вам свою волю; если вы хотите получить защиту от излишеств развращенности и нищеты, бурь тщеславия и анархии, раз'едающих этот город,

чтобы работать в мире и добродетели..., надо, наконец, чтобы все департаменты стали постоянными органами своей собственной воли; надо, чтобы эта громко провозглашенная общая воля заглушила всякую отдельную волю и дала, таким образом, надежду и средства для мирного национального восстания против намерений нескольких честолюбцев или даже заблуждений и тирании своих представителей, если бы они оказались в этом виновными“.

С наиболее вескими аргументами против апелляции к народу выступил Робеспьер в своей речи 28-го декабря. Он указал на опасность для революции перенесения вопроса в первичные собрания, которые были бы „переходом от деспотизма к анархии“. „Это было бы насмешкой над суверенитетом нации, поскольку бедняки, поглощенные повседневным трудом, не смогли бы аккуратно присутствовать при этих продолжительных и бесконечных дебатах. А пока нация будет парализована этими бесконечными прениями, пока на местах ее энергия будет поглощена спором, границ которого никто не может предусмотреть, неприятель будет опустошать нашу территорию... Надо, чтобы бесстрашные враги свободы... поспешили на защиту отечества, надо чтобы они предоставили трибуны и места для собраний, превращенные в арены для интриганов, богатым, естественным друзьям монархии, эгоистам, трусливым и слабым людям, всем приверженцам фильяства и аристократии“. Здесь Робеспьер правильно отмечал, что апелляция к народу фактически оказалась бы апелляцией к буржуазии, и потому он взывал к социальным инстинктам неимущих для защиты подвергающейся опасности политической свободы.

Колебаниям Конвента положила конец искусная и убедительная речь Барера. Он прежде всего разрушил аргумент о мнимой неприкосновенности короля: раз нарушив конституцию, последний не может уже пользоваться предоставляемыми ему конституцией прерогативами. С этими прерогативами могло считаться Законодательное Собрание, но не Конвент, черпающий свою власть не из конституции, а из народного восстания. Против апелляции к народу Барер, кроме выставленных уже Робеспьером политических соображений, выдвинул и ряд других мотивов: народ может утверждать закон или приговор, но про-

цесс короля не закон и не приговор, это—„акт общественного спасения, мера общей безопасности“, независимо от ее форм. Впечатление от речи Барера было тем сильнее, что он, как и во всей своей политике, не становился целиком ни на ту, ни на другую сторону в борьбе между партиями, не нападал ни на одну из них, что для него главной заботой было сохранение и усиление престижа Конвента. Апелляция к народу подрывала этот престиж, а между тем интересы революции требуют, чтобы Конвент находился в центре всей политической деятельности. Вместе с тем в той же речи Барер сумел отгородиться от крайностей как жирондистов, так и монтаньяров, не вступая, впрочем, в прямую полемику с ними.

Наконец, 14-го января после пяти-часовых дебатов по вопросу о формулировке вопросов, последние были отредактированы следующим образом: „1) Виновен ли Людовик в заговоре против свободы нации и в покушении на общую безопасность государства? 2) Должен ли приговор, каков бы он ни был, быть передан на утверждение народа? 3) Какому наказанию он подлежит?“.

Этот порядок, предложенный жирондистом Бойе-Фонфредом, имел в виду дать возможность колеблющимся голосовать за или против смертной казни в зависимости от того, будет ли приговор передан на окончательное решение первичных собраний, то есть означал победу жирондистов над монтаньярами.

Поименное голосование, производившееся по департаментам, началось в полдень 15-го января. Из 749 членов Конвента 671 признали короля виновным без всяких оговорок, 45 присоединили к своему вотуму те или иные оговорки, но ни один не ответил отрицательно на первый вопрос. По второму вопросу Жиронда потерпела поражение: 423 депутата голосовало против апелляции к народу и только 286—за. Настроение против апелляции после речи Барера было столь определено, что Верньо перед голосованием счел необходимым сделать следующее предупреждение: „Я заявляю, что, каково бы ни было решение, принятое Конвентом, я буду считать изменником отечества всякого, кто не подчинится ему. Мнения свободны до обнаружения воли большинства, они остаются таковыми и после, но тогда, по крайней мере, повиновение является обязанностью“. Таким

образом, в этот момент один из виднейших вождей жирондистов исключал возможность апелляции к народу, если она будет отвергнута Конвентом. Кондорсе пытался найти решение трудного вопроса в предложении, если смертная казнь будет принята, отложить ее выполнение до принятия Конституции, но высказался против немедленной апелляции к народу. Большинство жирондистов подало в конце концов голос против апелляции.

Оставалось ответить на третий, решающий вопрос—о наказании. Никто не был уверен в исходе голосования; иностранные дипломаты в своей переписке выражали надежду, что одержат победу противники смертного приговора. Несмотря на полное спокойствие и сдержанность, какие Конвент и на сессии Парижа обнаружили в эти дни, делались попытки обвинить Конвент в том, что он действует под угрозой насилия со стороны крайних левых. Об этом говорило письмо Ролана, обращенное к комитету Конвента, но даже большинство жирондистов с негодованием публично отвергало самую мысль о возможности чьего бы то ни было давления на волю народных представителей. Возник также вопрос о том, какое большинство необходимо для законности решения Конвента. Со свойственной ему решительностью Дантон, который только что вернулся из Бельгии и до сих пор не принимал участия в процессе короля, высказался за простое большинство голосов: „Я спрашиваю,—заявил он,—почему достаточно простого большинства для решения вопроса о судьбе целой нации, почему этот вопрос даже не поднимался, когда дело шло об уничтожении королевской власти, и почему решение судьбы одного человека, заговорщика, хотят обставить более строгими и торжественными формальностями“. Поименное голосование по вопросу о приговоре началось в среду 16-го января в 6 час. вечера и закончилось только к 7 час. вечера следующего дня. Оно происходило с полным спокойствием и сознанием всей важности совершаемого акта. Депутатам было предоставлено сопровождать свой вотум подробной мотивировкой. Первый же депутат, которому пришлось высказаться, Майль, личноотируя за смертную казнь, внес предложение, чтобы, в случае принятия ее большинством Конвента, последний подверг обсуждению вопрос об отложении приведения в исполнение казни „с точек зрения политической и целесообразности“. Многие

жирондисты, Верньо и Кондорсе в том числе, голосовали за смертную казнь с поправкой Майля об отсрочке. Напротив, Дантон высказался безоговорочно „за смерть тирана“, указывая колеблющимся, что Франции нечего ждать от Европы и что надо полагаться только „на силу нашего оружия“. В ответ ему Бриссо, поддерживая предложение Кондорсе об отсрочке казни до утверждения конституции, рисовал картину бедствий от немедленного приведения в исполнение смертного приговора: „Я вижу в смертном приговоре сигнал к ужасной войне, войне, которая будет стоять чудовищно много крови и сокровищ моего отечества, и с не легким сердцем я признаюсь в этом; не потому, что Франция страшится тиранов и их телохранителей, но потому, что к ним присоединятся нации, введенные в заблуждение клеветой по поводу приговора Конвента“. Жансонне в своей мотивировке потребовал отдачи под суд „убийц и грабителей 2—3-го сентября“. Так один за другим сменялись на трибуне депутаты, высказывавшиеся самым различным образом и вносившие в свои мотивировки множество разнообразных оттенков. Наконец, настала минута подсчета. В 10 часов вечера окончательные результаты голосования были оглашены председательствовавшим Верньо: из 721 голосовавших депутатов (из общего их числа в 749) 2 голосовали за каторжную тюрьму, 286 за тюремное заключение, 2 за изгнание, 46 за смертную казнь с отсрочкой до изгнания Бурбонов, до заключения мира или до утверждения Конституции; 361 за смертную казнь и 26 за смертную казнь с поправкой Майля и с заявлением, что их решение в пользу смертной казни независимо от того, будет ли эта поправка принята. Таким образом 387 депутатов высказалось за безусловную смертную казнь, 334 за заключение или условную смертную казнь. Конвенту пришлось проделать в четвертый раз поименное голосование, чтобы отвергнуть большинством 380 против 310 голосов новые поправки об отсрочке, внесенные Бюзо и Бриссо.

Приведение в исполнение приговора состоялось 21-го января. Париж оставался в этот день совершенно спокойным, и никаких эксцессов не произошло, несмотря на опасения муниципалитета, предпринявшего экстренные меры предосторожности и охраны. Только накануне казни в ресторане один из депутатов левой, голосовавший за смертную казнь, Лепеллетье де

Сан-Фаржо был зарезан одним из прежних телохранителей короля.

Хотя казнь короля и принесла революционной Франции значительные осложнения, хотя роялисты и использовали ее для предания ореола мученичества монархической идее, но отрицать историческое значение этого факта невозможно. 21-го января монархии и всему прошлому был нанесен глубокий и решительный удар, который перевешивал своим значением все происки контр-революционеров. В этот день нация утвердила принцип своего суверенитета, покончив одним ударом с идеей монархии и неприкосновенности монарха.

Казнь Людовика XVI дала желанный повод европейским державам, стоявшим до сих пор вне антифранцузской коалиции, примкнуть к ней. Не дожидаясь формального объявления ей войны со стороны Англии, Испании и Голландии, предпринявших ряд агрессивных шагов против нее, Французская республика сама объявила им войну, считая более целесообразной тактику решительного наступления, чем тактику пассивной обороны. Таким образом, Франция оказалась со всех сторон окруженной врагами. На время внешняя опасность заставила смолкнуть партийные раздоры и объединиться всех в общем деле. Но втянутая в ужасную войну, Франция должна была дать себе ответ на вопрос о целях, которые она преследует в ней. Теперь когда война со всеми ее опасностями и суровыми требованиями, предъявляемыми к народу, стала фактом, более дальновидные политики стали приходить к убеждению, что цели ее, формулированные в декрете от 15-го декабря, который провозглашал войну под лозунгом освобождения мечем стонущих под игом тиранов народов, должны быть пересмотрены. Так, Кондорсе указывал, что некоторые выражения этого декрета могут подать повод к весьма опасным толкованиям. Еще более решительно высказался Робеспьер вскоре после казни короля в своем письме к избирателям.

Воздавая должное благородным мотивам декрета 15-го декабря, Робеспьер отмечал опасности для республики завоевательной политики, не считающейся с мнениями и желаниями народов, страны которых подвергаются завоеванию. „Насилие и авторитет должны применяться только против мятежников, про-

тивящихся общей воле, но необходимо уважать волю народа. Если одержит верх противоположная система, кто может подсчитать печальные последствия войны, объявленной могущественному и мужественному народу, воодушевляемому фанатизмом, в то время, когда нам приходится укрощать своих собственных тиранов и всех тиранов Европы“. В частности, это надо иметь в виду по отношению к Бельгии: „Если я не ошибаюсь, теперь не время возобновлять с бельгийцами ту гибельную и кровавую войну, которую нам пришлось выдержать с нашими собственными священниками“. Необходимо далее принять все меры, чтобы приобрести доверие и благожелательное отношение со стороны народа, населяющего Голландию; надо считаться с тем, что другие народы меньше, чем французский, подготовлены к революции. Но при господствовавшем революционном опьянении военными успехами республиканских войск, Робеспьер не решался сделать логического вывода из своих положений о необходимости скорейшего заключения мира.

Гораздо большее мужество в борьбе с общим увлечением обнаружил Марат. Еще 27-го декабря он писал: „Я, кажется, был единственным депутатом Конвента, который не голосовал за присоединение Савойи к Франции; не потому, чтобы я не был в восторге от этого по существу, но потому, что момент для этого еще не настал; я рассматривал вопрос с политической точки зрения и знал, с какой ловкостью враги революции воспользуются этим случаем, чтобы обвинить французов в заносчивости и поднять против них многие державы, не вмешивавшиеся до того в их внутренние раздоры. Это могло послужить врагам свободы в британском сенате предлогом к тому, чтобы побудить парламент объявить войну Франции“. Марат требовал большой терпимости к бельгийской консервативно-клерикальной партии независимости, пользовавшейся сильным влиянием в массах народа и высказывавшейся против введения в Бельгии революционного строя. „Признайте, что, если бельгийцы свободны, то народ является сувереном и может сохранить или изменить свою старую конституцию, не будучи принуждаем к тому силою оружия. Французы заинтересованы в том, чтобы иметь бельгийцев в качестве друзей и союзников“. С этой точки зрения Марат резко осуждал политику Дюмуре и других генералов и эmissаров Конвента в Бельгии.

Посреди общего смятения умов и неясности позиций один только Дантон сохранял ясный и определенный план внешней политики. Никогда он не верил больше в свои силы, чем в этот момент, никогда не стремился с такой энергией к объединению борющихся партий, в интересах единства всех сил революции. Желая показать внешним врагам Франции ее силу, он вместе с тем понимал всю опасность безграничного распространения за пределами Франции революционной пропаганды. Он готов был заключить мир, но мир почетный, вызванный не слабостью революционной Франции, а ее силой. Положение в Бельгии казалось ему чрезвычайно тяжелым. Насильственное навязывание бельгийскому народу демократической конституции может вызвать взрыв и возмущение фанатизма настроенного в пользу католической партии бельгийского народа; если, напротив, предоставить бельгийский народ самому себе, то клерикалы одержат верх над демократами, и по соседству с Францией будет создан опасный очаг католической и контр-революционной пропаганды. Единственным выходом из этого положения Дантону казалось присоединение, включение Бельгии в состав французской республики. В связи с этим Дантон формулировал теорию естественных границ, дополняющую теорию революционного права естественным правом. В заседании Конвента 31-го января он формулировал эту теорию следующим образом: „Я утверждаю, что напрасно высказываются опасения по поводу чрезмерного распространения Республики. Ее границы определены природой. Мы ограничены ею со всех четырех сторон, со стороны Рейна, Океана и Альпов. Тут должны кончатся границы нашей республики, и никакая власть в мире не сможет помешать нам достигнуть их“. Ту же самую приблизительно мысль высказывал спустя короткое время и Карно; но ни Карно, ни Дантон не могли удовлетворительно разрешить неразрешимой проблемы примирения естественного права с правом революционным. Во всяком случае теория естественных границ делала возможным заключение мира, тогда как всемирная пропаганда революции, проповедывавшаяся первоначально Бриссо и другими жирондистами, исключала возможность его. Идея Дантона заключалась именно в том, чтобы внести некоторое успокоение в умы и сдержать революционное настроение элементов, находящихся в

меньшинстве в различных странах Европы и надеявшихся при помощи революционной Франции разрешить свои внутренние задачи.

Дантон мечтал обеспечить республиканской Франции прочное место и признание среди других народов Европы; он хотел освободить ее от упреков, что она, во имя революционного права, хочет насильственно перестраивать внешние и внутренние отношения народов Европы. Он надеялся завоеванием Бельгии и Голландии заставить Англию, под угрозой разрушения ее торговли, склониться к миру, способному обеспечить внешнее могущество Франции и мирное развитие ее демократии. Измена Дюмуре, на военные таланты которого Дантон возлагал такие надежды, и вызванные этой изменой столкновения и ожесточенная борьба партий разрушили, однако, его планы.

Отставка министра внутренних дел Ролана и военного министра Паша, не обнаружившего достаточной энергии и враждовавшего с Дюмуре, и замена их Гара и другом Дюмуре Бернонвиллем соответствовали планам Дантона, так как в лице новых министров он получал существенную поддержку и возможность согласования внутренней и внешней политики, с одной стороны, и единства действий военного министерства и генералитета, с другой.

Франция вступила в новый, более тяжелый, чем первый, период войны при чрезвычайно расстроенных финансах и неурядицах в деле формирования армий, их снабжения и т. д. Для улучшения финансового положения, которое с каждым месяцем становилось все более критическим благодаря непрерывному выпуску бумажных денег, некоторые парижские секции, поддержанные якобинским клубом, постановили отдать свою недвижимую собственность в качестве обеспечения ассигнаций. Эта мера, свидетельствующая о благородном революционном порыве ее авторов, была тем не менее нецелесообразной. Освобождая от финансового бремени имущие и контр-революционные элементы, она возлагала его на новую неокрепшую еще собственность буржуазной революционной демократии; она грозила гибелью революции, подрывая ее экономические основы и делая возможным в окончательном итоге потерю собственности теми, кого она ею наделила. Сознание того, что государство стоит

накануне финансового банкротства, заставляло поэтому склоняться к мысли о необходимости прогрессивного подоходного налога, который привлек бы к несению военного бремени богатых,—мера, которая вскоре и была принята Конвентом.

Военные силы республики также были сильно надорваны в первый период войны. Для того, чтобы довести после понесенных потерь численный состав армии до 500 тысяч, надо было произвести новый набор в 300 тысяч человек. Вместе с тем необходимо было осуществить реорганизацию армии, состоявшей до этого времени из двух различных элементов: линейных регулярных войск и волонтеров. На каждый линейный батальон приходилось, в общем, два батальона волонтеров; те и другие находились в различных условиях службы, как в отношении ее срока, оплаты, назначения офицеров, дисциплины и наказаний и т. д. Жалованье добровольцев было выше, чем у солдат регулярной армии; они пользовались правом избрания офицеров, тогда как в регулярной армии офицеры назначались исполнительной властью и т. д. Кроме того, в регулярной армии наблюдалось изобилие офицеров, а среди волонтеров находилось очень мало лиц, способных успешно выполнять командные функции. В виду всех этих обстоятельств 7-го февраля Дюбуа-Крансе, как докладчик Военного комитета, предложил Конвенту реформу армии, выражавшуюся в „амальгамировании“ (слиянии) ее разнообразных элементов. Согласно его проекту, каждые два батальона волонтеров и один батальон регулярной армии образовывали вместе одну полу-бригаду, форма, жалованье и дисциплина в которой должны были быть одинаковыми для всех солдат. Способ назначения офицеров устанавливался следующий: за исключением начальника бригады и капрала (унтер-офицера), повышение в следующий чин производилось двояким способом; одна треть вакантных должностей замещалась по старшинству чина, а две трети—по выбору, при чем выборы производились по-батальонно, и каждому батальону было предоставлено право намечать кандидатов для всей полу-бригады из числа лиц, состоящих в чине на один ниже того, на который намечается кандидат. Выбор из трех намечаемых кандидатов производился всеми лицами, состоящими в чине одинаковом с тем, вакансия которого свободна. Этот способ назначения офицеров давал строевым офицерам серьезные гаран

тии и признание заслуг, примиряя их с революционной армией; вместе с тем он удачно сочетал принципы выборности и военной иерархии.

Иной способ замещения устанавливался как для самых низших (капралов), так и для высших должностей. Капралы, все без исключения, избирались абсолютным большинством всех солдат своего батальона. Напротив, при замещении высших чинов выборное начало применялось в очень ограниченных размерах. Начальниками бригады (полковники) автоматически по старшинству назначались начальники батальонов; бригадные и дивизионные генералы назначались непосредственно исполнительной властью: треть по старшинству и выслуге, две трети: военным министром—по отношению к бригадным генералам, и Исполнительным советом (министерством)—по отношению к дивизионным. Главнокомандующие назначались Исполнительным советом из числа дивизионных генералов с утверждением Национального Собрания. Амальгамирование двух составных элементов армии предложенное Дюбуа-Крансе, не означало их полного слияния; напротив, реформа, имея в виду сближение их между собой и создание условий для координирования их деятельности, вместе с тем сохраняла их особенности, считаясь с специфическим самолюбием регулярных войск. „Дело идет не о том,—говорил Дюбуа-Крансе в защиту своего предложения,—чтобы из строевых солдат сделать волонтеров, а наоборот—о том, чтобы превратить наших волонтеров в строевых солдат“. Возражая на упреки по поводу введения выборности офицеров, Дюбуа-Крансе указывал на необходимость устранения из армии офицеров-аристократов и предоставления простора способным и мужественным людям из среды рядовых солдат. Настаивал на необходимости выборного начала и Сен-Жюст, не скрывавший, впрочем, опасностей, проистекающих из него. „Я не намерен скрывать,—говорил он,—опасности военных выборов, поскольку они распространяются на высший командный состав и генералитет; надо уметь надлежащим образом проводить в жизнь принципы. Отдельные части имеют право избирать своих офицеров, потому что они составляют корпорацию. Армия в целом не может избирать себе начальников, потому что в ней нет определенных элементов, потому что все в ней изменчиво и изменяется каждую минуту; армия

не составляет организма: она—собрание нескольких организмов, связанных между собой только чрез посредство своих начальников, которых им дает республика. Армия, избирающая своих начальников, представляла бы собой армию мятежников... Избрание начальников отдельных частей есть право солдатской общины... Избрание генералов—право всего государства. Целая армия не может ни заниматься обсуждением вопросов, ни собираться. Только самому народу или его законным представителям принадлежит выбор тех, от кого зависит общественное благо“. И Сен-Жюст заканчивал свою речь почти пророческими словами: „Если вы испытаете неудачи, подумайте, какие люди, при данном положении, должны первыми изменить республике. Если вы окажетесь победителями, военное честолюбие окажется выше вашего авторитета, единство республики требует единства в армии; у родины одно только сердце, и вы не захотите, чтобы шпага разделила ее сынов“.

Эти слова в значительной степени подтвердились, когда волонтеры помешали Дюмурье осуществить его изменнический план, тогда как регулярные войска, введенные в заблуждение, вначале поддерживали генерала-изменника.

Аналогичный проект реформы, что и Дюбуа-Крансе, внес Жан Бон Сент-Андре по вопросу о реорганизации флота. Конвент принял оба проекта. Впоследствии реформа при своем проведении в жизнь вызвала некоторые трения и неудобства и внесла кое-где замешательство в рядах армии: отмечались случаи нарушения дисциплины в ней, но, несмотря на все эти недостатки, она содействовала поднятию гражданских чувств и среди солдат, и среди офицеров и сыграла не малую роль в тех блестящих подвигах революционного духа и патриотизма, которые проявили армии французской республики.

Но недостаточно было принять закон о лучшей организации армии,—надо было еще создать самую армию. И в тот же самый день, 24 февраля 1793 года, когда был одобрен проект Дюбуа-Крансе, Конвент принял закон о наборе в 300 тысяч человек. Этот закон представлял нечто среднее между призывом к добровольному зачислению в ряды войск, который делали Учредительное и Законодательное Собрания, и обязательной воинской повинностью. Нужный контингент в 300 тысяч разверстывался

между департаментами, округами и общинами. Если лиц, желающих идти волонтерами, оказывалось меньше, чем требовалось разверсткой, местные власти организовывали назначение недостающего числа лиц путем голосования всего населения данной общины или путем жребия, при чем назначаться в армию могли только лица в возрасте от 18 до 40 лет холостые и вдовцы, не имеющие детей. Эта мера преследовала цель привлечения в ряды армии представителей зажиточных классов, до тех пор уклонявшихся от принесения материальных и личных жертв в пользу революции и войны. Другой пункт закона, впрочем, значительно ослаблял значение этой меры, разрешая избранным выставять вместо себя лиц, достигших 18 лет и согласившихся на это; буржуазия получала таким образом возможность при помощи денег (покупки заместителя) уклониться от призыва. Наконец, для поощрения записи волонтеров Конвент принял декрет, обеспечивающий солдат и их семьи. Новая демократическая организация армии, ее народный состав, заботы о ней правительства и сознание ее, что она сражается за революцию и завоевание свободы, наполняли ее духом героизма, вызывали в ней под'ем, заставляя ее с сознанием величия своего дела выполнять свой долг. Неудивительно, что во многих коммунах число добровольцев превышало предположенное по разверстке число солдат. Успехам армии содействовало также применение научных данных к таким отраслям военного дела, как артиллерия, которая, по отзыву специалистов, во Франции превзошла своим качеством артиллерию всех других государств.

Единство, обнаруженное Конвентом и страной при проведении военных реформ, очень скоро сменилось новым взрывом политической и социальной борьбы. Казнь Людовика XVI сильно взбудоражила революционные страсти. В клубах и секциях уже стали раздаваться зловещие голоса о необходимости применения казней для борьбы с врагами революции; и, поскольку жирондисты своим нерешительным и уклончивым поведением во время процесса короля скомпрометировали себя, негодование народа обрушивалось против них, как против людей, желавших спасти короля. Те элементы парижского населения, которые принимали участие в восстании 10-го августа и движении после него, снова пришли в движение во время процесса короля и после казни,

но на этот раз во главе их встали новые вожди, и само движение приобрело иной характер. Новая временная Парижская Коммуна во главе со своим прокурором Шометтом и его заместителем Гебером, заменившая революционную Коммуну осени 1792 года, продолжала, правда, поддерживать сношения с народными низами, но, как всякая официальная власть, стала мало-по-малу склоняться к легальному образу действий, не проявляя достаточно решимости и активности, чтобы стать во главе стихийных народных революционных движений, как-то было в августовские и сентябрьские дни 1792 года. Вот почему народное движение, основу которого составляли парижские секции и федераты, прибывшие из провинции в Париж для защиты революции и постепенно от сочувствия жирондистам переходившие на сторону более крайних течений, шло на этот раз независимо и мимо Парижской Коммуны. Федераты считали себя представителями всей Франции и вместе с наиболее революционными парижскими секциями начали еще в декабре проявлять свое недовольство медлительностью Конвента в вопросе о суде над королем. 30 декабря 1792 года делегаты 18 секций явились в Конвент с требованием ускорения казни короля. 17 января 1793 года состоялась новая демонстрация перед зданием Коммуны, во время которой демонстранты вместе с Генеральным советом последней приняли следующую торжественную присягу: „Мы все клянемся быть верными французской нации и закону; клянемся поддерживать единство и нераздельность Республики, защищать до последней капли крови священные права человечности, свободы и равенства. Наконец, мы взаимно клянемся хранить ненарушимый союз и братство. Вместе с тем мы клянемся вести вечную войну со всеми тиранами, как бы они себя ни называли“.

3-го февраля перед Конвентом появилась новая делегация от всех 48 парижских секций и „объединенных защитников 84 департаментов“, во главе с увлеченными ею официальными представителями Генерального совета Коммуны. Манифестанты требовали от Конвента принятия решительных мер против спекуляции и наплыва бумажных денег. Вообще, начиная с этого времени, в народных требованиях все более явственно слышатся социально-экономические мотивы, даже тогда, когда речь идет непосредственно о чисто политических требованиях. Так, требуя

казни короля и наказания контр-революционеров, демонстранты в своих петициях неустанно подчеркивали те экономические бедствия, которые они испытывают со времени революции, и настаивали на мерах экономического характера, которые могли бы избавить их или смягчить эти бедствия (борьба со спекулянтами, установление твердых цен на хлеб и т. п.). По мере того, как политическое равенство становилось действительностью, народ все больше начинал чувствовать социальное неравенство, и в нем пробудилось стремление к уничтожению последнего. И если такие вожди народных масс, как Марат, черезчур поглощенные политической парламентской борьбой, не придавали в этот период большого значения социальным вопросам, проходя мимо них, то некоторые, более вдумчивые теоретики, хотя и более умеренного направления, пытались по своему дать ответ на эти назревшие вопросы. В этом отношении характерна позиция, занятая жирондистскими газетами. Так, в газете Кондорсе „Парижская хроника“ появился ряд статей Рабо Сент-Этьенна под названием „Равенство“, посвященных этому вопросу. Отвергая „аграрный закон“, автор признает, что установление политического равенства значительно теряет в своем значении благодаря сохранению неравенства социального. Он высказывается поэтому за более равномерное распределение имущества между гражданами посредством ограничения владения собственностью определенными размерами и передачи излишков, сверх установленного максимума, в пользу нуждающихся и всей нации, прогрессивно-подоходного налога и т. п.

Как ни наивны и подчас экономически реакционны взгляды Рабо Сент-Этьенна, не понимавшего хода экономической эволюции и прогрессивной роли накопления капиталов, они свидетельствуют о настроении эпохи и ее передовых умов. Характерно, что к самым экономическим вопросам Рабо подходил с точки зрения политической. Он прямо говорил, что демократический режим не сможет долго существовать при социальном неравенстве; при последнем „в течение более или менее продолжительного времени нация окажется разделенной на два класса. Народ превратится в ничто, если только он не станет чернью, канальей. Тогда демократическое правительство будет уничтожено, республика перестанет существовать, и снова наступит господство аристократии“.

В том же духе, что и Рабо Сент-Этьенн, высказывался в своей газете „Французский патриот“ другой вождь жирондистов, Бриссо. Нападая на „анархистов“, проповедующих раздел земли, он указывал на другие меры, могущие смягчить социальное неравенство, как-то: отмену права наследования по боковой линии, подоходный налог и освобождение от налога неимущих „пролетариев“, ограничение имущества собственников определенным максимумом и т. д.

Парижское население, страдавшее от дороговизны предметов потребления и других бедствий, связанных с войной, не могло удовлетвориться подобными программами экономических реформ, рассчитанными на более или менее продолжительное время. Им нужна была программа, обещающая скорое, немедленное уничтожение нужды. И так как широко было распространено представление, что падение ценности денег и повышение цен на продукты вызывается деятельностью спекулянтов, то уже демонстранты 3-го февраля требовали от Конвента декрета, устанавливающего смертную казнь для лиц, которые в целях спекуляции обменивают металлические деньги на ассигнации, и воспреещающего употребление металлических денег. В том же направлении, но в еще более угрожающем тоне говорила петиция 12-го февраля. „Граждане,—говорилось, между прочим, в этой петиции,—вы собрались здесь для нашего блага или для нашей гибели; вы, без сомнения, желаете нам блага. Хорошо же! Вы ничего не сделаете для нашего блага, пока не поразите экономистов, злоупотребляющих выгодами закона (о свободной торговле хлебом) в интересах обогащения за счет бедняка. Вам говорят, что невозможен хороший закон относительно предметов потребления; это значит, что приходится терять веру в вашу мудрость“. И петиционеры предлагали свой закон, карающий каторжными работами скупщиков хлеба, перепродающих его с целью наживы, устанавливающий единую меру хлеба для департаментов, наказание тюрьмой, а при повторных случаях, смертью лиц, продающих хлеб выше определенной установленной цены. Эта петиция и ее тон вызвали резкие протесты со стороны многих членов Конвента не только жирондистов, но и монтаньяров. Марат, оспаривая право петиционеров говорить от имени всей Франции, настаивал на том, что в среде петиционеров имеются

контр-революционеры и аристократы, и требовал привлечения их к ответственности, как нарушителей общественного спокойствия.

С первого взгляда может показаться странным, что якобинцы, которые считали себя призванными руководить народными революционными массами, не поддержали этого нового движения, шедшего с низов, несмотря на попытки вождей последнего опереться в своей деятельности на влиятельную силу клуба якобинцев. Якобинцы неохотно давали свое помещение под собрания делегатов секций и федератов и образованных ими „Братского Общества“ и „Общества защитников Республики“. Объяснение этому факту заключается, однако, в том, что якобинцы чувствовали, что эти новые революционные группировки не будут послушным орудием в их руках: в то время, как в этот период якобинцы и монтаньяры сосредоточивали все свое внимание на борьбе с жирондистами, крайние шли гораздо дальше обвиняя и левую часть Конвента в медлительности и произнесении бесплодных речей вместо решительных действий; вместе с тем они выдвигали такие социально-экономические требования, к которым якобинцы не решались присоединиться. Они боялись, что те суровые законы против торговцев и спекулянтов, которых требовали „защитники республики“, оттолкнут от последней всю буржуазию и поставят на карту самое существование республики раз'единяя революционные силы. Особенно резко обрушился против нового движения Марат. Последний при всем своем страстном темпераменте и крайностях, в сущности, был сторонником умеренной политики. Он готов был при помощи насилия подавлять лиц и партии, которые, по его мнению, грозили свободе, но он желал избегать всех лишних осложнений, могущих затруднить успехи революции. Поэтому он высказывался против уничтожения цеховых корпораций и знаков отличия, которое восстанавливало против революции значительные слои населения; поэтому же он был против объявления войны и за примирительную политику в Бельгии. Конечно, Марат глубоко заблуждался, отрицая за движением народный и революционный характер приписывая его исключительно проискам контр-революционеров, но он был прав, предвидя опасности, которые могло принести с собой это идущее через край движение.

Народное движение в связи с вздорожанием хлеба оказало влияние на Коммуну и Конвент. Несмотря на протесты булочников, Коммуна установила для Парижа твердую цену на хлеб при чем определила за счет общественных сумм, вознаграждение булочникам, которые несли убытки при твердой цене в 3 су за фунт печеного хлеба. Конвент одобрил эту меру, которая, однако, была только паллиативом при условии непрекращающегося падения ценности бумажных денег.

Недовольство продолжало царить в кварталах Парижа, и этому недовольству два человека—юный Жан Варле и священник Жак Ру—пытались придать форму определенной социальной программы. Не занимая никакой выборной должности, Варле проявлял неумолимую агитационную деятельность вне представительных учреждений, в народных собраниях и на уличных митингах. Он выдвинулся еще до 10-го августа, как народный оратор, руководитель уличных демонстраций и автор многочисленных петиций, обращенных к Законодательному Собранию и Конвенту. Социальная программа Варле была формулирована им в брошюре „Торжественное провозглашение прав человека в социальном состоянии“, в которой он писал, между прочим: „Во всех государствах нуждающиеся составляют большинство, и, так как их свобода, безопасность и личное самосохранение представляют собой важнейшие блага, их вполне естественная воля, их самое неотъемлемое право—защищаться от угнетения богатых, ограничивая приобретательскую деятельность последних и уничтожая при помощи справедливых средств чудовищную непропорциональность в распределении богатств. Собственность, конечно, является неприкосновенным правом, и всякий собственник в праве располагать по своему усмотрению своим имуществом и доходами, поскольку это не ведет к разрушению общества. Собственность, собранная за счет общественного благосостояния путем воровства, спекуляции, монополий и скупщичества, должна стать национальным достоянием“. И так, не нападая на собственность, как таковую, Варле требовал лишь ее ограничения и контроля над ней во избежание злоупотреблений правом ее пользования со стороны всяких спекулянтов и скупщиков.

Более глубокое влияние, чем Варле, имел на народные массы священник Жак Ру, развивавший подобно ему энергич-

ную агитацию социального характера в народных клубах, мелких лавочках, мастерских и частных домах секции Гравиллье и смежных с ней. Будучи делегатом этой секции в Парижской Коммуне, Жак Ру был послан присутствовать при казни короля и обнаружил при этом крайнюю степень кровожадности и жестокости. Приветствуя казнь короля, он в своей агитации указывал на недостаточность этой меры, если одновременно не будут предприняты решительные шаги против спекулянтов и торговцев. Недостаточно установить твердые цены на хлеб,— надо объявить решительную войну всем скупщикам, и, так как Конвент не решается на такую войну, надо заставить его сделать это путем народного давления извне. И Жак Ру организовал такое давление, являясь вдохновителем ряда делегаций и петиций к Конвенту в течение февраля (преимущественно состоявших из женщин), протестовавших против вздорожания хлеба, мыла, свечей, сахара и других продуктов. Так как Конвент отнесся к петициям совершенно равнодушно, то 25-го февраля народ приступил к грабежу лавок, при чем несомненно, что инициатива такого ответа на бездействие Конвента принадлежала именно Жаку Ру, а не Марату, которого обвиняли в этом на основании одной неудачной его статьи, совпавшей по времени с грабежом и подававшей повод к толкованиям ее в духе Ру. Во всяком случае, Марат после 25-го февраля резко ополчился против грабежа, по своему обыкновению обвиняя в подстрекательстве к нему жирондистских и контр-революционных агентов. Но Жак Ру воспользовался статьей Марата, чтобы прикрыться его именем и авторитетом для пропаганды „третьей революции“, народной революции, ради обеспечения средств существования. Жак Ру не встретил в этой своей агитации сочувствия даже Парижской Коммуны: одна из секций потребовала лишения его полномочий в качестве делегата. Коммуна, правда, дозволительно вяло подавляла грабежи, но не одобряла их: в этот момент она добивалась от Конвента субсидий для выдачи приплат булочникам, делавших возможным продажу парижскому населению хлеба по дешевой цене, а неорганизованное движение народных масс могло вызвать недовольство Конвента Парижем и вследствие этого—отказ на ее ходатайство. Кроме того, вожди Коммуны—Шометт и Гебер—в это время связали свою судьбу с монтань-

ярами, совместно с которыми они в центре всей своей политики ставили борьбу с жирондистами; в этой борьбе непредвиденные стихийные народные движения на экономической почве могли только мешать. Многие историки, правда, отождествляют взгляды Жака Ру и Варле со взглядами Гебера, который, отрицая „аграрный закон“, призывал „передушить всех богачей, жиреющих от крови бедняка“ и „отнять у финансистов все, что они награбили у нации“, но в устах Гебера подобные фразы являлись пустой революционной декламацией, в которую он не вкладывал того практического смысла, какой придавал нападкам на богачей Ру.

Не менее ошибочно отождествление взглядов последнего с воззрениями Бабефа, допускаемое некоторыми писателями (Мишле). Ни у Жака Ру, ни у Варле не было продуманной социальной системы; предлагавшиеся ими мероприятия против спекулянтов и торговцев были крайне неопределенны и туманны; в их агитации, не затрагивавшей самого принципа собственности, не было и следа коммунизма и глубины мысли, которые характеризуют воззрения Бабефа. Характерно, что Бабеф находил своих сторонников в кварталах Сен-Марсель и Сент-Антуан, с преобладающим рабочим населением (мануфактуры и мастерские), тогда как центром деятельности Ру была секция Гравиллье, с ее ремесленниками, мелкими лавочниками и промышленниками. Эта невежественная мелкая буржуазия, составлявшая аудиторию Ру, не имела никакого представления о коллективной собственности; она естественно восставала против развития капитализма, угрожавшего ее существованию, и легко поддавалась, терпя экономические бедствия, влиянию агитации, направленной против крупных богачей, владельцев крупных торговых фирм и мануфактур. Поэтому Жака Ру можно считать идеологом мелкой буржуазии и ремесленников, защищавшим их против накопления капиталов и конкуренции крупных торговцев в такой же мере, как и защитником пролетариев от вздорожания цен. Конечно, революционно настроенная мелкая буржуазия того времени очень отличалась от современной реакционной мелкой буржуазии, легко становящейся в своей борьбе с крупным капиталом добычей антисемитизма, но ее стремления в своем существе не имели ничего общего с социализмом и коммунизмом.

При всей туманности и расплывчатости идей Жака Ру, он внес в движение два элемента, которые резко отличали его от представителей всех партий, не исключая и Гебера. Это, во-первых, подчеркивание проблемы собственности и указание на то, что вопрос о систематических мерах к ее урегулированию должен стать центральным вопросом революции; это, во-вторых, возбуждение народа против всех чисто политических партий, как чуждых его интересам. Это последнее обстоятельство привело к тому, что все партии и группы выступили против его агитации. Монтаньяры и руководители Коммуны были, в особенности, смущены тем, что жирондисты использовали события 25-го февраля для новых нападков на левых и тех, кого они называли „анархистами“, поэтому они сами сочли необходимым решительно отгородиться от нового социального движения. Робеспьер, как и во многих подобных случаях, обнаружил нерешительность. С одной стороны, он понимал народный характер движения и боялся потерять связь с революционными элементами столицы; с другой, он не мог не осудить движения, возбуждающего против революции собственников, поддержку которых Робеспьер считал крайне необходимой. В своей речи в Конвенте он обнаружил эту двойственность. Признавая движение следствием нужды и экономических бедствий, он заявлял, что не может винить народа, так как „он никогда не бывает неправ“, вместе с тем он становился на защиту собственности и уверял, что в беспорядках повинны враги народа и свободы, использующие в своих целях народные волнения.

Последняя мысль еще более определенно подчеркивалась в циркулярном письме якобинского клуба, разосланном его провинциальным отделениям. Ту же позицию занял и Гебер: подлаживаясь к народу, лстя и занскивая, он старался уверить его, что он стал жертвой обмана со стороны контр-революционеров и „бриссотинцев“ (жирондистов). „Как,—писал он,—вы объявили войну скупщикам, а обратили свою месть против мелких розничных торговцев, которые больше вас страдают от них? На каком основании вы хотите установить цену на товары вашего соседа? Я говорю так не из любви к лавочникам. Я полагаю, что большинство их—плохие граждане и что они заслужили то, что с ними произошло, но из любви к вам, мои друзья сан-

кюлоты, которых обманывают: чорт возьми, вас хотят раз'единить в момент, когда вы все должны быть братьями... Парижане! Узнайте своих истинных врагов. Гораздо большее зло, чем скупщики, это—бриссотинцы и роландисты“.

Казалось, Жак Ру потерял в этот момент всякое влияние и почву под ногами. Признаком этого было и то, что получившая к этому времени окончательную организацию Парижская Коммуна не утвердила его мандата вследствие протеста нескольких секций. Но Ру не был этим обескуражен: он продолжал свою деятельность в секциях Гравиллье и Тамплль, оставшихся ему верными и составлявших оплот новой партии, которую Гебер и Марат окрестили партией „бешеных“. Экономическое положение Парижа было таково, что Ру со своей агитацией против спекуляции и в защиту экономических мероприятий для облегчения народных бедствий мог взять теперь реванш за неудачу 25-го февраля. Даже умеренные элементы стали постепенно все больше склоняться в пользу таких мероприятий. Идеи, развивавшиеся Кондорсе в „Парижской хронике“, о необходимости поддержания свободы торговли и конкуренции, которые сами собой приведут к соответствию цен на продукты и заработной платы, не могли встречать теперь сочувствия: для этого революция не имела времени; надо было принимать экстренные меры, в противном случае ей грозила опасность задохнуться в тисках экономических потрясений, вызываемых ростом бумажных денег и все увеличивающейся дороговизны. Движение ремесленников различных профессий, жаловавшихся на невозможность продолжать производство вследствие непомерного вздорожания сырья, заставило Конвент отказаться от своей политики невмешательства в экономические отношения и подвергнуть обсуждению меры, могущие смягчить бедствие.

Так Карра потребовал издания декрета, предписывающего всем крупным собственникам, высшим чиновникам, финансистам, интендантам старого режима и т. д. сделать заявление о размерах своего движимого и недвижимого имущества. Эта незначительная мера, недействительная уже потому, что оставляла вне регистрации весь новый класс буржуазии, обогатившийся за время революции, не встретила, однако, серьезных возражений внутри Конвента,—настолько сильно было настроение против скупщиков и спекулянтов.

Более широкую постановку придал вопросу Шометт. Обвиняя, как и другие вожди монтаньяров, в грабеже контр-революционеров, он сделал попытку разобраться в причинах экономических бедствий и найти из них выход. Для Шометта дело не ограничивается вздорожанием хлеба, с которым в качестве прокурора Коммуны он успешно боролся. „В настоящее время не существует строгого соответствия между поденной ценой рабочего и ценой на предметы первой необходимости. Мы знаем, что при настоящих условиях существует несколько причин этого внезапного вздорожания. Война с морской державой, катастрофа, происшедшая с нашими колониями, прекращение с ними обмена и, в особенности, выпуск бумажных денег, не находящийся в соответствии с потребностями торговых сделок,— вот некоторые из причин того значительного вздорожания, от которого мы страдаем“. Но рядом с этими экономическими причинами играют роль и политические: спекуляция на почве общественного бедствия „кучки разбойников, добывающихся контр-революции при помощи отчаяния народа“. Народ это хорошо чувствует, и „нельзя от него требовать, чтобы он в настоящее время возвысился до объяснения коренных причин и терпеливо ждал отдаленного времени, когда вернутся изобилие и мир. Бедный, как и богатый,— даже больше, чем богатый,— совершил революцию. Все изменилось вокруг бедного,— один только он остался в прежнем положении и получил от революции только одно право жаловаться на свою нищету“. „Революция дала бедняку свободу и равенство, но чтобы жить свободным, надо жить, и если не существует разумного соответствия между ценой труда бедняка и ценой необходимых предметов существования, бедняк не может больше существовать“. Отсюда Шометт делал вывод о необходимости восстановить нарушенное соответствие посредством ограничения количества денег согласно с потребностями торговли, борьбы со спекулянтами и организации общественных работ.

По существу, эта программа не отличалась от требований Жака Ру. Шометт не решался даже высказаться против установления твердых цен на все главнейшие продукты, чего добивался последний. Вообще, мысль о необходимости твердых цен стала завоевывать умы, и даже Робеспьер стал понемногу склоняться к ней.

События, разыгравшиеся в это время в Лионе, дали новый толчок агитации Жака Ру. В Лионе политическая борьба носила чрезвычайно страстный характер, будучи осложняема социальными противоречиями, резко выражаемыми в этом промышленном центре Франции. Политическая власть принадлежала в Лионе жирондистам, составлявшим большинство в муниципалитете (городской думе) и имевшим своих представителей на главных муниципальных должностях. Но с двух сторон эта власть подвергалась нападениям. Прежде всего, в Лионе были сильные сторонники контр-революции: фельяны и роялисты. Большинство лионской буржуазии, сильно пострадавшей от революции и социальных требований рабочих и ремесленников, было настроено против революции. В Лионе же находили себе приют скрывавшиеся от преследований контр-революционеры юга и центра Франции и отказавшиеся от конституционной присяги священники, агитация которых находила благоприятную почву в религиозно настроенных массах населения. Против всех этих контр-революционных элементов жирондистское городское самоуправление во главе с мэром Нивьер-Шолем не предпринимало никаких мер. Бездействие власти вызвало демократическую оппозицию, группировавшуюся вокруг горячего патриота Шалье, бывшего лионского торговца, вначале примыкавшего к жирондистам, но порвавшего к этому времени с ними. Свою агитацию в пользу решительной политики и необходимости немедленной казни короля Шалье связывал с вопросом об улучшении экономического положения трудящихся масс, которые в это время сильно волновались на почве экономических затруднений, о которых мы уже выше говорили. Ни в одной части страны социальный вопрос не достигал такой остроты, как в Лионе, нигде ремесленники и пролетарии не отличались такой степенью сознания своей классовой обособленности, как здесь. В своих петициях и демонстрациях они требовали установления по соглашению муниципалитета и делегатов от фабрик периодически пересматриваемого тарифа заработной платы и прогрессивного налога на капитал.

Организованные Шалье и его сторонниками манифестации требовали смертной казни для короля и хлеба для народа; они носили угрожающий для жирондистов характер. А после казни

Людовика XVI 28-го января Шалье на народном собрании произнес экзальтированную речь, в которой требовал „истребления всех существующих под именем аристократов, фельянов, умеренных эгоистов, спекулянтов, скупщиков, ростовщиков, равно как и фанатической секты священников“. „Дерево свободы,—говорил он,—расцветет только на окровавленных трупах деспотов“. В исступлении Шалье призывал к созданию „кровавого трибунала“ для того, чтобы покарать всех изменников и контр-революционеров. Ибо недостаточно одной только свободы, которой желают все,—необходимо и равенство.

Выступления Шалье дали повод роялистам и жирондистам к ряду репрессий. Были произведены обыски и аресты; был пущен слух о составленном Шалье и его приверженцами заговоре, имевшем якобы в виду повторить в Лионе сентябрьские парижские дни, установить на улицах Лиона гильотину и т. д. В этом контр-революционном движении роялисты очень скоро одержали перевес над жирондистами, которые оказались слишком слабы, чтобы противостоять натиску более реакционных элементов; Нивьер-Шоль, поняв, что он играет роль слепого орудия в руках последних, подал в отставку, и власть фактически очутилась в руках открытых монархистов. В Лионе началась ожесточенная гражданская война, доходившая до вооруженных столкновений, взаимных арестов, убийств и т. д. Конвент, обеспокоенный событиями в Лионе, послал туда трех комиссаров для расследования, которые констатировали контр-революционный, монархический характер лионского движения.

Экономические требования, выдвигавшиеся лионской демократией, придали новую силу социальному движению в Париже. Хотя между Шалье и Ру не существовало непосредственной связи, но их требования во многом сходились, с тем только отличием, что программа Шалье была значительно шире. Под влиянием этих социальных требований, приобретающих все большее распространение, Совет Лионской Коммуны высказался в марте за твердые цены на зерно, за запрещение торговли серебром, за обеспечение ассигнаций совокупностью земельных и движимых имуществ республики. Еще дальше, чем муниципалитет, шли народные массы Лиона: лионские женщины вывесили афишу, в которой устанавливали предельные цены на все буквально

продукты и заявляли, что не будут признавать собственности тех земледельцев и торговцев, которые нарушат эти цены.

Вопрос о собственности становился в порядок дня революции даже в Париже. Это начинало беспокоить его политических деятелей. В якобинском клубе речи против богатых вызвали сильный ропот, а в Конвенте выражение этому беспокойству дал Камбон. Угрозы собственности,—доказывал он,—вносят замешательство и затрудняют продажу национальных имуществ, что мешает сокращению числа обращающихся бумажных денег и возможности уничтожения их излишков. Это уничтожение стало заметно уменьшаться с того времени, как начались беспорядки (с 8—11 миллионов в неделю до 1 миллиона). „Доверие разрушается постоянными угрозами собственности и правилами, которые желают установить. Граждане на границах ради вас проливают свою кровь. Вы им обещали собственность; если на эту собственность совершается нападение, значит, вы внушали им тщетную надежду... Лучше прямо сказать им: сражайтесь, и вы ничего не получите; или: ваша собственность не неприкосновенная, она не принадлежит вам. Доверие, доверие—вот основа финансов. Безопасность для лиц, безопасность для собственности, и я отвечаю за благо республики“. В заключение Камбон потребовал сурового закона против лиц, нападающих на собственность. Выступая на защиту собственности, Камбон, как и большинство Конвента, отнюдь не имел в виду защиту *всякой* собственности. Одновременно он внес предложение об ускорении продажи собственности эмигрантов, ибо собственность изменников, как и церковная собственность, с его точки зрения, принадлежат нации и не нуждаются в защите, как личная собственность частных граждан.

Несмотря на изолированность Жака Ру и его социальной партии в среде демократии, жирондисты воспользовались ею для новых ожесточенных нападков на монтаньяров и обвинения их в сеянии анархии. Монтаньяры не остались в долгу: желая привлечь внимание народных масс от экономической агитации Ру и „бешеных“, они считали чрезвычайно выгодным сосредоточить его на чисто политической борьбе с „изменниками“ и „защитниками короля“,—жирондистами, ненавистными этим массам. „Бешеные“ поддержали кампанию якобинцев против Жиронды.

Потерпев неудачу в своем стремлении заставить Конвент и Коммуну стать на путь экономических реформ, они рассчитывали, что, дав монтаньярам победить жирондистов, они тем самым расчистят путь для себя, ибо победа над партией богатых купцов, спекулянтов и скупщиков, каковой они считали жирондистов, будет победой над спекуляцией и хищничеством вообще. В этом отношении характерен адрес, прочитанный от имени „Общества защитников Республики“ в якобинском клубе 4-го марта. Адрес этот начинается с указания на то, что и Учредительное и Законодательное Собрания и большинство Конвента предают народные интересы. „Восстание—самая священная обязанность, когда отечество угнетено. Неверные депутаты не только должны быть отозваны, но их голова должна пасть под ударами меча закона, если будет доказано, что под предлогом свободы мнений они предали интересы нации. Неприкосновенность Людовика Капета и представителей народа погубили Республику, одни только имущие неприкосновенны... Имущественная аристократия собирается возвыситься на развалинах аристократии знати, крупные торговцы и финансисты, вообще хищники. Никакой коронованный разбойник не осмелился бы напасть на нас, если бы он не был уверен в поддержке целой партии в Конвенте... Одни и те же удары должны поражать врагов внешних и внутренних“. Адрес заканчивался призывом „к оружию“.

Требования и угрозы адреса по отношению к жирондистам шли гораздо дальше того, чего добивались Робеспьер и даже Марат. Робеспьер пока не думал еще не только о смертной казни для жирондистов, но даже о лишении их депутатских полномочий, так как он больше всего опасался новой избирательной борьбы. Его план, напротив, сводился к тому, чтобы постепенно, без насилий, дискредитировать жирондистов, лишить их руководящей роли в Конвенте и его комитетах, обрекая их таким образом на полное политическое ничтожество.

К этому времени неудачи на фронте внесли новые осложнения во внутренние политические отношения. Генерал Дюмуре, пробывший в течение января в Париже и использовавший свое пребывание там для зондирования почвы в различных политических кругах и прежде всего среди жирондистов, вернулся в армию, чтобы привести в исполнение свой план стремительного

вторжения и завоевания Голландии, который разделялся и Дантоном. Бесспорно, в этот момент Дюмуре еще не решил изменить, которую совершил спустя несколько месяцев. Но он уже был настроен враждебно к революции, особенно после казни короля; подгоняемый честолюбием и жадой власти, он мечтал о роли спасителя-Франции от анархии и восстановителя в ней порядка. Для этого ему необходимы были военные успехи, и он, веря в свои таланты, очертя голову предпринял вторжение в Голландию. Последнее в начале было успешно, но скоро австрийские войска, под командой принца Кобургского, ответили на него контр-наступлением на Бельгию и завладели целым рядом важных стратегических пунктов. Успехи неприятельских войск грозили отрезать Дюмуре с его войсками от всей остальной французской армии; положение было близко к катастрофе.

В то время, как Дантон спешно вернулся из Бельгии в Париж, чтобы предотвратить панику и сделать новую попытку вдохнуть в население новый порыв героического революционного патриотизма, жирондисты, которые несли ответственность за объявление войны и которые играли руководящую роль в Комитете обороны, делали все от них зависящее, чтобы скрыть от народа действительные размеры бедствия и преуменьшить грозящую опасность.

Так, например, они скрыли от Конвента тревожное письмо из Бельгии, полученное Комитетом обороны от трех комиссаров. А жирондистские журналисты, изображая положение дел на фронте в благоприятном свете, хотя неудачи вызвали сильную деморализацию в армии, не прекращали в то же время своих нападок на якобинцев и „анархистов“.

В то время, как жирондисты закрывали глаза на опасность, „бешеные“, снова появившиеся на авансцене и приобретшие сильное влияние в клубе кордельеров и некоторых секциях, напротив раздували опасность, заявляя о том, что Дюмуре изменил, и требуя, чтобы его сообщники—жирондисты—были изгнаны из Конвента и преданы суду. В этом именно смысле был редактирован ряд резолюций и петиций, принятых различными секциями и клубом кордельеров; в них же проводилась мысль о необходимости нового восстания народа и подчинения нерешительного Конвента Парижскому департаменту, который

должен получить соответствующие полномочия от всех секций и кантонов Франции. Пока Варле и другие „бешеные“ развивали чисто политическую агитацию, направленную против жирондистов и требовавшую создания революционного трибунала для истребления изменников, Жак Ру снова поднял знамя социально-экономической агитации. В секции Гравиллье он провел петицию к Конвенту с требованием суровых мер против спекулянтов, скупщиков и торговцев, мотивируя их внешними и внутренними опасностями. „Как! В то время, как наши батальоны будут развертывать во вне знамя национальной мести, будете ли вы терпеть дальше, чтобы жены и дети наших храбрых волонтеров страдали и погибали под ударами имущественной аристократии? Неужели вы останетесь глухи к голосу этого огромного города, который друзья покойного короля при поддержке ярости эмигрантов и заговорщиков пытаются смирить голодом и нищетой, чтобы отомстить за их нападения на тиранию? А между тем, вдумайтесь-ка хорошенько: нет свободы без хороших законов; нет равенства, когда один класс людей голодает, а другой безнаказанно совершает измену“. И наряду с требованиями казни для изменников и врагов народа, петиция настаивала на суровом обложении буржуазии в пользу государства.

Но настроение кордельеров и „бешеных“ не отвечало настроению большинства революционеров и той тактике, которую проводили в это время виднейшие вожди революции. Обвинить Дюмуре в измене, которую нельзя было подтвердить фактами, значило бы признать ошибкой вторжение в Голландию, а последнее не входило в планы всех революционных вождей. Отозвание Дюмуре из армии, кроме того, было бы равносильно внесению в ее среду деморализации и созданию в его лице нового опасного врага, поскольку его популярность была еще очень велика в рядах войск. Наконец, подчинение Конвента Парижскому департаменту, которого добивались Варле и другие крайние, было бы фактическим прорывом единого революционного национального фронта, уничтожением единственного национального центра, могущего вывести Францию из затруднений.

В этот тяжелый момент Робеспьер, Дантон, Марат, Шометт, Гебер, вся Гора и Парижская Коммуна образовали истин-

ный деятельный и пламенный революционный центр между жирондистами и „бешеными“. Несмотря на все различия и оттенки мнений, существовавшие между ними, они все были солидарны в том, что народ должен знать об опасности, которую скрывают от него жирондисты, что надо остерегаться крайних средств, рекомендуемых „бешеными“, и оказать доверие Дюмуре.

Робеспьеру, при свойственной ему подозрительности, казалось, что в поражениях виновата измена, но он склонен был обвинять в ней второстепенных генералов, а не главнокомандующего Дюмуре. „Я доверяю ему, потому что его личные интересы, самая его слава привязывают его к успехам нашего оружия. Пока Республика существует, как бы могущественен ни был тот или иной генерал, его вина не осталась бы безнаказанной“. Неудачи Дюмуре в Бельгии Робеспьер приписывал жирондистам, которые, руководя военной политикой, помешали Дюмуре осуществить свой план вторжения в Голландию три месяца назад при более благоприятных условиях. Дантон тоже встал на защиту генерала. Призывая напрямь все силы Франции для поддержки армии, оперирующей в Бельгии, он говорил: „Дюмуре с гением генерала соединяет искусство подогревать и возбуждать мужество солдат. История произнесет свой приговор над его талантом, страстями и пороками, но факт тот, что он заинтересован в величии Республики“.

В то же время Дантон старался очистить от подозрения в измене и других генералов, которых обвинял Робеспьер. Любопытнее всего, что такую же позицию занял и Марат, который давно уже подозревал Дюмуре в измене, раньше публично обвинял жирондистов в потворстве этому изменнику и упрекал Дюмуре в сочувствии бельгийской аристократии и духовенству. Теперь Марат резко изменил свою позицию: желая удалить Дюмуре из армии, он хотел подготовить постепенно этот шаг. Вообще после казни короля в политике Марата произошла, как мы это уже видели, значительная перемена в сторону умеренности, что он и сам признавал. Ему казалось, что казнь короля настолько укрепила республику, что у всякой контр-революции обрезаны крылья, и можно без ущерба для блага революции от репрессивных мер, которых он требовал раньше, перейти к

большей умеренности. С другой стороны, внешние опасности, угрожающие Франции, требовали напряжения и объединения всех революционных сил, и поэтому Марат, затративший столько сил для борьбы с жирондистами, делал теперь несколько шагов безуспешных в сторону примирения с ними; только после того, как он убедился, что они продолжают свою губительную политику, он снова возобновил свои атаки против них. В тем большей степени его должна была при его примирительном настроении беспокоить деятельность „бешеных“. Его смущало их желание подчинить себе монтаньяров, в которых он видел главную силу революции, и он склонен был поэтому видеть в их агитации происки эмигрантов и других контр-революционеров. Нападки „бешеных“ на Конвент и требования репрессий, эксцессы их в экономической области, казалось ему, способны только дезорганизовать силы революции. В своей полемике с „бешеными“, организовавшими разгром типографий нескольких жирондистских газет, он написал, между прочим, следующие замечательные слова в защиту свободной печати: „С моей точки зрения, удар, наносимый свободе печати, вызывает тревогу. Что касается до меня, то я слишком хорошо знаю это на своем опыте. Я, в отличие от вас, не со вчерашнего дня родился в свободе, я впитал любовь к ней с молоком матери; я был свободен в течение сорока лет, когда Франция еще была населена рабами. Мое перо находило ограничения только в истине; несмотря на все декреты мира, оно никогда не будет знать никаких других ограничений, как и тогда, когда я должен был скрываться в подполье; теперь же я вместе с вами хочу пользоваться полной свободой печати“.

Наконец, и экономические воззрения „бешеных“ вызвали решительные возражения Марата. В то время, как они хотели запретить употребление металлической монеты, утвердить ассигнации и установить твердые цены, Марат, в согласии с Робеспьером и Сен-Жюстом, видел главную причину финансовых и экономических бедствий Франции именно в бумажных деньгах, желал их уничтожения или, по крайней мере, сокращения их количества; он требовал также отказа от уплаты процентов по государственному долгу. План Марата был непрактичен и неосуществим при данных условиях, но нам важно отметить

здесь его полное расхождение с экономической политикой Жака Ру и друзей последнего.

Итак, в первые дни марта 1793 года Марат, Робеспьер и Дантон без всякого предварительного соглашения образовали своего рода духовный триумвират, согласный в необходимости революционного единства для отражения врага и предохранения республики от излишеств, отсрочки, по возможности, внутренних раздоров до предотвращения угроз извне и, следовательно, оставления Дюмуре на его посту. Вместе с тем, считая необходимым возбудить революционный патриотизм масс, они стояли за решительные действия Конвента в области как внешней, так и внутренней политики.

Эти решительные действия начались с принятого 9-го марта Конвентом предложения Дантона о рассылке комиссаров по всем секциям Парижа и департаментам Франции для предупреждения населения о грозящей опасности и собирания сил для отражения неприятеля. Одновременно Конвент принял декреты 9 и 10 марта о создании „чрезвычайного уголовного трибунала“, сохранившего в истории имя „революционного трибунала“. В этом вопросе Дантон, Марат и Робеспьер были вполне единодушны: им представлялось целесообразным установить способы быстрой расправы с контр-революционерами, идя навстречу в этом отношении настроению народа и тем самым удерживая его от эксцессов. Согласно декретам, трибунал этот устанавливался в Париже „для расследования всяких контр-революционных предприятий, всяких покушений на свободу, равенство, единство и нераздельность Республики, внутреннюю и внешнюю безопасность государства и всех заговоров, клонящихся к восстановлению королевской власти или установлению всякой другой власти, покушающейся на свободу, равенство и суверенитет народа, независимо от того, являются ли обвиняемые военными или гражданскими должностными лицами или простыми гражданами“. Трибунал составлялся из присяжных и пяти судей, назначаемых Конвентом, как и публичный обвинитель и два его заместителя. Конвенту же предоставлялось право назначения присяжных из числа граждан Парижского и четырех смежных с ним департаментов. Судьи должны произносить приговор открытой подачей и абсолютным большинством голосов. Приго-

вор приводится в исполнение немедленно, и никакая кассация его не допускается. Имущества лиц, присуждаемых к смертной казни, конфискуются в пользу Республики. Для виновников преступлений, не предусмотренных уголовным уложением и позднейшими законами и опасных для спокойствия Республики, должна применяться ссылка.

Создание быстро действующего карательного аппарата диктовалось как внешними опасностями, так и известиями, приходившими из различных частей страны о контр-революционных заговорах и движениях. И в этом отношении не Дантон был, в сущности, инициатором создания трибунала, которого требовало революционное сознание народа в этот период. Но Дантон не побоялся взять на себя ответственность за этот решительный акт. „Я знаю,—говорил он в заседании Конвента 10-го марта,—до какой степени важно предпринять юридические меры, которые бы карали контр-революционеров; ибо трибунал необходим именно для них; для них этот трибунал должен заменить верховный трибунал народной мести. Враги свободы ведут наступление. Видя честного гражданина, занятого у своего очага, ремесленника, занятого в своей мастерской, они имеют глупость верить в то, что они составляют большинство. Хорошо же! Вырвите же их самих от народного мщения,—этого требует гуманность... Сделаем то, чего не сделало Законодательное Собрание. Будем страшными, чтобы избавить народ от необходимости быть страшным; организуем трибунал не как благо—это невозможно—но как наименьшее возможное зло, чтобы меч закона обрушился на голову всех его врагов“.

Одновременно с этой крупной мерой Дантон провел через Конвент меру менее значительную,—освобождение лиц, осужденных за долги, очевидно, не слишком доверяя тому, что революционный трибунал безусловно предохранит от повторения эксцессов, подобных сентябрьским дням, жертвой которых могут стать не только контр-революционеры, но и маловажные преступники.

Но для триумvirата было недостаточно организовать устрашающую революционную репрессию. Их мысль шла гораздо дальше. Для концентрации революционных сил и прекращения анархии, ослабляющей центральную власть, необходимо было

объединить исполнительную и законодательную власть, до того времени раз'единенные, а также соединить в одном органе управление гражданскими и военными делами. Формально исполнительная власть находилась в руках Временного Исполнительного Совета министров и Комитета обороны, руководимых жирондистами. Оба эти органа не пользовались авторитетом, часто расходились с Конвентом и не обнаруживали необходимой решительности действий, занимаясь обсуждением фантастических планов, например, о всемирной войне и не предпринимая никаких реальных шагов для облегчения положения французской армии в Бельгии.

Мысль о создании сильной и концентрированной революционной власти, на которой настаивал Дантон, разделялась вполне Робеспьером и Маратом. Последний еще в начале февраля отмечал, как „один из главнейших пороков демократического правительства,—медленность и публичность всех его действий“, которые „всегда препятствуют общественному благу, поскольку такое демократическое правительство находится в состоянии войны с деспотическими государствами, быстрота и тайна операций которых имеет решающий характер“.

Дантон высказался в Конвенте за уничтожение дуализма законодательной и исполнительной власти и тех постоянных трений, которые происходили между Исполнительным Советом и Комитетами Конвента. В этих целях он предложил 10-го марта установить избрание Совета министров из среды самого Конвента, что уничтожило бы вышеуказанный дуализм. Свое предложение он мотивировал в следующих ярких выражениях: „Надо спасти Францию от конвульсий анархии; надо утвердить и консолидировать Республику. Имейте в виду, граждане: бездействие убивает, смелость спасает. Будем щедры на людей и деньги, развернем все средства национального могущества, но вручим руководство этими средствами людям, необходимый и повседневный контакт которых с вами обеспечит цельность и исполнение мер, которые вы постановите в интересах общественного блага. Вы не представляете из себя органа, организуемого кем-либо, ибо вы можете сами себя организовать“.

Робеспьер также высказался в пользу подобной же реорганизации исполнительной власти, указывая на невозможность

положения, при котором Исполнительный Совет действует сам по себе, Комитеты Конвента сами по себе, а Конвент лишен необходимых сведений об общем положении дел. Робеспьер при поддержке предложения Дантона питал заднюю мысль — вытеснить влияние жирондистов из Комитета обороны и министерства и заменить их там монтаньярами, как это было раньше с Комитетом общественной безопасности Парижской Коммуны, не затрагивая личности жирондистов и не посягая на их депутатские мандаты.

Не так, однако, были настроены крайние революционные группы, убежденные в измене Дюмуре и склонявшиеся к мысли об истреблении жирондистов, как его пособников. Секция предместья Пуассоньер своим манифестом от 9-го марта начала кампанию в этом направлении. Манифест призывал секции, „состоящие из санкюлотов присоединиться к защитникам отечества для того чтобы произвести восстание во имя блага Республики“. Манифест назначал сборный пункт для восставших, призывал „наложить руку на партии, заседающие в Конвенте“, и на типографии, в которых печатаются жирондистские газеты. Восстание не последовало, так как большинство секций остались верны Конвенту, и лишь 3—4 выразили сочувствие пуассоньерцам. Но враждебные демонстрации произошли все таки 9-го около здания Конвента, и в нескольких типографиях были уничтожены машины; в других этого не допустили рабочие. Призыв к восстанию был принят также в клубе кордельеров по инициативе Варле, но когда Варле с этим призывом обратился к Парижской Коммуне, то вожди последней,—Паш, Шометт и Гебер,—всецело поддерживавшие в это время политику Робеспьера, Дантона и Марата, решительно отклонили его предложение. Такой же неуспех потерпела делегация секции Пуассоньер в Конвенте и клуба кордельеров у якобинцев, где они встретили резкую отповедь, в первом случае;—со стороны Марата, во втором—со стороны Билльо-Варенна. С такой же решительностью Гебер и клуб якобинцев публично отговаривались от агитаторов, создавших панику призывом к восстанию. Впрочем, учитывая растущее влияние „бешеных“, ни один из вождей революционной демократии не решался присоединиться к требованию жирондистов о предании суду трибунала петиционеров предместья Пуассоньер и других „смутьянов“.

Умеренная и примирительная политика монтаньяров не останавливала все-таки клевет и нападков на них со стороны жирондистов. Защита монтаньярами Дюмуре вызвала резкую отповедь Бриссо в его „Французском Патриоте“: Бриссо клеймил Робеспьера и Дантона за то, что они хотят связать свое имя с именем „славного генерала“, и предсказывал, что последний „не пожелает губить родину вместе с анархистами“; жирондисты возобновили также свои обвинения по адресу Дантона в стремлении к диктатуре, не понимая, что своей политикой только ускоряют свою гибель. А между тем, устранившись от принятия должностей отправляемых в провинцию Конвентом комиссаров, жирондисты предоставляли монтаньярам возможность укрепить в стране свое влияние и лишать Жиронду политического кредита у населения.

Тяжелое положение Республики, связанное с военными неудачами, неожиданно осложнилось взрывом гражданской войны в Вандее, подготовлявшейся уже в течение двух лет. Социальные условия Вандеи сделали ее очагом контр-революции. Население этой области мелких хуторов и ферм, без очень крупных городов и с отдаленными друг от друга местечками, было настроено в высокой степени религиозно, ибо здесь священник являлся единственной социальной связью между разрозненными жителями. Церковные реформы революции и преследование неконституционных священников вызывали возмущение крестьянства. Темное и невежественное крестьянство Вандеи не оценивало благ, принесенных революцией, в роде уничтожения десятины и других повинностей, но зато болезненно ощущало бремя, которое она возлагала на его плечи. Так арендаторы эмигрантских земель были недовольны тем, что им приходилось платить налоги не только за себя, но и за эмигрировавших дворян. Положение особенно обострилось после казни короля. Война со всей почти Европой означала набор, а эгоистичное и ограниченное вандейское крестьянство не склонно было отдавать своих сыновей в жертву непонятной, чуждой их интересам войне. Призыв рекрутов вызвал возмущение в ряде деревень и подал сигнал к началу общего вандейского движения, которое причинило столько беспокойства и затруднений Республике. В движении этом, начатом стихийно крестьянами, большую и сознательную, руково-

дящую роль сыграли контр-революционеры,—аристократы, первоначально по тактическим соображениям остававшиеся в тени. Они боялись своим активным вмешательством придать движению слишком определенный характер, который мог отпугнуть и оттолкнуть от него народные массы; они предпочли выждать, пока эти массы втянутся в гражданскую войну и у них не будет отступления; к тому же аристократы рассчитывали на помощь со стороны Англии в виде десанта и выжидали выяснения этого вопроса. Вот почему первое время дворянство старалось держаться за кулисами вандейского движения, стремясь воздействовать на него через посредство реакционного духовенства, игравшего роль агитаторов и организаторов мятежного крестьянского населения. Но несмотря на народную внешность движения, главную физическую силу которого составляло крестьянство и руководителями которого были, наряду со священниками, а впоследствии и дворянами, также деревенские ремесленники и мещанство мелких городов, по существу своему и целям отнюдь не может быть названо народным. Ибо характер всякого социального движения определяется не столько составом его участников, сколько его целями и направлением. А целью вандейского движения была борьба с революцией, и становившиеся по мере его разрастания во главе его дворянские элементы определенно стремились к реставрации (восстановлению) монархии и феодальных привилегий дворянства. И если в основе движения лежали стихийные взрывы недовольства крестьянских масс, то та относительная его планомерность и организованность, которые очень скоро обнаружили в военных операциях вандейцев, обличают опытную в военном деле дворянскую руку. Приняв централизованный и организованный характер, вандейское движение вместе с тем выкинуло открыто знамя монархизма, католицизма и феодализма. В начале, однако, вандейское движение разбивалось на действия различных армий, независимых одна от другой, со своими военачальниками, выступавшими с самостоятельными планами, но постепенно оно стало принимать более единообразный характер.

Историки и современники, принадлежащие к самым различным политическим направлениям, отмечают жестокость, которую проявляли по отношению к попадавшим в их руки револю-

ционерам, как вандейские крестьяне, так и их руководители. В революционерах крестьяне видели „господ“, к которым они издавна питали ненависть рабов и низших существ; они были для них олицетворением того духа городского безбожия, которое разрушило священные в глазах крестьянства религию и церковь. Эта слепая ненависть сознательно разжигалась, как священниками, мстившими революционерам за испытанные ими от революции преследования и унижения и обещавшими крестьянам царство небесное за гибель в борьбе с революционными войсками, так и вождями дворянства, мстившими за казнь короля, за гонения на аристократию, за патриотический террор.

Несмотря на первоначальную разрозненность своих действий, вандейцы сразу одержали значительные военные успехи, захватив ряд городков и местечек и отрезав такой важный пункт, как Нант, от всей остальной Франции.

Мятежники рассчитывали на помощь со стороны Англии, на высадку ею десанта на французском побережье. Но ни Англия, ни действовавшие в согласии с нею французские эмигранты, во главе с братьями казненного короля, не придавали вначале серьезного значения вандейскому движению и не спешили на помощь ему.

В завоевываемых областях вандейцы тотчас же восстанавливали уничтоженные революцией феодальные учреждения, как, напр., десятину и церковные имущества. И ослепленные фанатизмом крестьяне, на которых десятина и существование церковных имуществ ложились таким же тяжелым бременем, как и на буржуазию, шли в бой и умирали за требования контр-революционного дворянства и духовенства, и только впоследствии они стали выражать недовольство тем, что сражаются за чужие интересы.

Патриоты и революционеры городов Западной Франции (Вандея находится на Западе) оказали, за немногими исключениями, решительное сопротивление вандейцам. Конвент при первых же известиях о восстании единогласно принял репрессивный закон, каравший смертной казнью и конфискацией имущества всех участников „контр-революционных мятежей“ связанных с отказом поставлять рекрутов, а также тех, кто будет носить белую кокарду (монархический значек). Последнее пред-

ложение, исходившее от жирондиста Ланжюинэ, встретило возражение со стороны Марата. Жирондисты, в общем, довольно спокойно отнеслись к известию о вандейском восстании, стараясь, как и в вопросе о неудачах в Бельгии, затушевать их значение. В Комитете обороны они отвергали или даже не ставили на голосование предложений о принятии решительных мер для подавления восстания, исходивших от монтаньяров (напр., о посылке специальных отрядов национальной гвардии). Нерешительность жирондистов и желание их ослабить впечатление от угрожающей со стороны Вандеи опасности объясняется всей их позицией этого времени, сущность которой выше отмечалась. В их представлении главным врагом революции были монтаньяры: Дантон, Робеспьер и Марат, Парижская Коммуна и кордельеры,—вообще революционный Париж. Решительная война с Вандеей было равносильна усилению значения последнего и ослаблению провинции, в которой жирондисты видели свой последний ресурс против Парижа. Вместе с тем им казалось, что контр-революционные эксцессы и движения вызываются исключительно крайностями „анархистов“, к которым они без разбору относили всех левых. Поэтому уничтожить влияние монтаньяров значило для них парализовать контр-революцию. Отсюда те фантастические настроения, которые делали жирондистские публицисты в своих газетах. Бриссо, Лувэ и Салль наперерыв изощрялись в доказательстве существования тройного заговора против Республики: заговора анархистов, контр-революционеров и эмигрантов, из которых самыми опасными являются первые. В деятельности „анархистов“ жирондисты старались уловить нити, связывающие их с английским правительством и, в особенности, с происками герцога Орлеанского, в качестве претендента на трон. Эта снова извлеченная на свет басня имела успех за пределами жирондистских кругов; ей верил даже вождь центра Конвента („болота“) Барер. Правда, монтаньяры в своей слепой ненависти к жирондистам столь же безосновательно обвиняли их в желании возвести на французский престол герцога Йоркского и в содействии роялистам, но это не мешало монтаньярам понимать непосредственные опасности, угрожающие революции, и видеть главного врага там, где он действительно был. Это понимание внушало монтаньярам рево-

люционную энергию и волю к действию в то время, как жирондисты, казалось, были охвачены параличем и полной апатией.

Как раз в это время новое, важное по своим последствиям, событие произошло на востоке. Конвент получил письмо от Дюмуре, который, разочаровавшись в возможности вторжения в Голландию, вызывающе потребовал от Конвента изменения всей политики в Бельгии. Комитет обороны, получивший это письмо, счел нужным сохранить его в тайне, пока будут предприняты шаги к воздействию на генерала. В этом вопросе с жирондистами сходилась и Дантон, который тотчас же отправился в Бельгию, надеясь повлиять на генерала. Но было уже поздно: Дюмуре, потерпев поражение в Бельгии и не видя возможности восстановить свою боевую славу на полях сражений, решил изменить. Резко характеризуя Конвент, как собрание дураков, руководимых преступниками, он заявил, что надо покончить с анархией в Париже и восстановить прежнюю конституцию, т. е. конституционно-монархический образ правления. С этой целью он вступил в переговоры с австрийскими полковником Махом и главнокомандующим, принцем Кобургским, предлагая им совместные действия против Парижа. Переговоры эти не привели к положительным результатам, так как австрийское правительство не желало отказаться от чести восстановления во Франции монархии силами одной только союзной коалиции. Тогда потеряв голову, Дюмуре распорядился об аресте посланных к нему комиссаров Конвента, в том числе военного министра Бернонвилля и после того, как его собственные войска отказали ему в повиновении, отдался в плен австрийцам.

Известие об измене Дюмуре подняло в Париже бурю негодования. Особенно рьяную агитацию развили „бешеные“, которые и раньше обвиняли Дюмуре, в то время, когда вожди монтаньяров его еще защищали. Теперь они требовали кары для жирондистов,—укрывателей и пособников изменника-генерала. Марат также требовал решительных мер от Конвента. В том же духе высказывался и Робеспьер, но он желал ограничиться только законными средствами борьбы с жирондистами, отвергая как и раньше мысль об их исключении из Конвента. „Предлагая твердые и решительные меры,—говорил он в заседании Конвента,—я не предлагаю вам тех конвульсий, которые ведут к

смерти политического учреждения. Я требую, чтобы все секции бодрствовали и наблюдали за дурными гражданами, не посягая на неприкосновенность депутатов. Я не хочу, чтобы трогали эти обломки национального представительства (здесь Робеспьер имел в виду жирондистов),—я желаю только, чтобы их лишили возможности вредить“. В числе необходимых мер Робеспьер указывал на изгнание аристократов, на выступление верных республике департаментов против контр-революционных, на устранение всех подозрительных генералов и недостаточно патриотичных граждан. „Словом, надо, чтобы нация поднялась и уничтожила своих врагов, уважая, однако, национальное представительство“. Те же мысли Робеспьер развивал в якобинском клубе 1-го апреля. Таким образом, как и пред 10 августа, Робеспьер высказывался против применения мер насилия, за энергичную деятельность всех действительных революционеров в рамках закона.

Наиболее тяжелым было положение Дантона. Его долгая связь с Дюмуре, поддержка и защита, которые он ему оказывал все время, набрасывали на него тень и вызывали против него сильные подозрения с того момента, как измена Дюмуре стала совершившимся фактом. И действительно подозрения против Дантона приняли в это время столь широкое распространение, что всегда осторожный Робеспьер не решался открыто стать на его сторону в своей полемике с жирондистами; более того,—в одной из своих речей он, намекая на Дантона, выражал удивление, что своевременно не была разгадана сущность намерений Дюмуре.

При таких условиях Дантону ничего другого не оставалось, как идти навстречу опасности и поднять брошенную ему жирондистами в связи с изменой Дюмуре перчатку. И он сделал это со свойственной ему решительностью и прямоотой. По возвращении из Бельгии он обратился к Конвенту со следующими словами: „Я должен сказать вам всю правду и я скажу ее без всякой помехи. Что мне за дело до тех фантазий, которые распространяются на мой счет, когда я должен служить родине! Да, граждане, вы не исполняете своего долга; вы говорите, что народ был введен в заблуждение, но почему же вы удаляетесь от этого народа?... Народ—орудие революции, и вы должны пользоваться им. Напрасно вы говорите, что народные общества ки-

шат нелепыми и жестокими клеветниками. Почему же не идете вы туда, чтобы избавить народ от них? Революции разжигают все страсти. Нация во время революции подобна кипящему металлу, возрождающемуся в плавильном тигле. Статуя свободы еще не отлита: металл кипит, и если вы не будете наблюдать за огнем, вы сами сгорите в нем“. Требуя вооружения всего народа, подавления мятежей на западе и энергичной деятельности революционного трибунала, он закончил речь словами: „Проявите себя, как революционеры, проявите себя, как народ“. В последний раз он призывал в этой речи жирондистов к забвению прошлых распри, угрожая им непримиримой борьбой, в случае их отказа. „Гора раздувается,—говорил он,—она вращает утесами свободы, и враги свободы будут раздавлены“.

Через несколько дней Дантон выступил против жирондистов еще более определенно. Защищаясь от обвинений в неоглашении письма Дюмуре и ссылаясь на исключительность момента, требовавшего этого, он перешел затем от обороны к нападению. „На некоторое время,—говорил он,—я был готов пожертвовать своей репутацией, чтобы лучше исполнить свой долг по отношению к Республике, думая лишь о том, чтобы служить ей. Я приглашаю вас сделать все имеющиеся у вас против меня заявления и обвинения, ибо я решил ответить на все. Будьте же готовы быть столь же свободными, как я; будьте французами и в своей ненависти и свободными в своих страстях; ибо я жду того и другого“. Перечислив свои заслуги перед революцией, Дантон перешел к тем мерам, которые он считает необходимыми: „Отнюдь не роспуск Конвента, но пусть народные общества скажут народу: нельзя представлять французскую нацию, не имея мужества сказать, что надо убить короля.... Конвент заражен прежними членами Учредительного Собрания и аристократами; позаботимся, чтобы он очистился, не разрывая себя на части“.

Марат, искренно поддерживавший Дантона и вдохновляемый революционной страстью, овладевавшей им всегда в тревожные дни, конкретизировал мысль Дантона, требуя „действий“ и эшафота для изменников, т.-е. жирондистов.

В ответ на прямые обвинения жирондиста Ласурса в укрывательстве Дюмуре Дантон разразился бурной, произведшей

сильнейшее впечатление на Конвент двухчасовой речью, в которой окончательно разрывал с Жирондой и отказывался от своей прежней политики примирения двух враждующих крыльев Конвента. „Да, граждане,—признавался он,—я ошибался. Я слишком долго откладывал битву. Но теперь я объявляю войну, непримиримую войну трусам, которые не осмеливались поразить тирана“. А в клубе якобинцев он прямо говорил о содействии департаментов для изгнания из Конвента „всех интриганов!“

Окончательный разрыв между Жирондой и Горой совершился. В открывшейся между ними борьбе победить должна была последняя не только потому, что за ней была деятельная энергия парижского населения, но и потому, что она сама действовала энергично в духе революции и родины.

Ряд энергичных мер был принят в это время под давлением и по инициативе монтаньяров. 6-го апреля образован Комитет общественного спасения, закрыто заседавший в составе 9 членов; в лице его революция приобретала быстро действующий необходимый ей исполнительный орган. В мае Конвент принял декрет о принудительном прогрессивном займе у богатых, обеспечивающем ассигнации и спасающем Францию от финансовой катастрофы. 3 и 4-го мая, при сопротивлении Жиронды, Конвент принял декрет о максимуме (твердых ценах) на зерно. Вместе с Коммуной монтаньяры организовали волонтерские дружины для подавления контр-революционной Вандеи и содействовали набору. В это время средние классы, на которые опиралась Жиронда, организовывали противодействие набору, устраивали демонстрации, враждебные якобинцам и т. д., стараясь отвлечь внимание населения от событий на Западе.

Поведение жирондистов, измена Дюмуре и восстание в Вандее,—все это окрыляло надеждами контр-революционеров; они рассчитывали, как это видно из их переписки, что междоусобная борьба расчистит путь для реставрации.

Силы жирондистов не были еще сломлены: они продолжали сохранять большинство в Конвенте. Если монтаньярам удавалось проводить меры, требовавшиеся властно событиями, то только потому, что в этих вопросах на их сторону переходило бесформенное „болото“ (центр Конвента) во главе с Барером, которое напротив поддерживало жирондистов и давало им

большинство, всякий раз, как дело шло о борьбе с крайними левыми, с Парижской Коммуной, с народными движениями. Поэтому монтаньяры не имели шансов победить жирондистов в борьбе на законной почве, к чему стремился Робеспьер. Оставался выход, к которому склонялись Марат и Дантон,—насильственное удаление жирондистов из Конвента. По предложению Дантона, якобинцы разослали провинциальным отделам циркулярное письмо, в котором призывали их требовать лишения жирондистов мандатов. „Братья и друзья,—говорилось в этом письме,—в самом Сенате (Конвенте) руки отцеубийц разрывают на части ваши внутренности! Да, контр-революция проникла в правительство, в Национальный Конвент; там, в центре вашей безопасности и ваших надежд, преступные делегаты ткнут нити заговора, который они замыслили вместе с бандой деспотов, желающих вас задушить. Там преступная интрига, направляемая английским двором и другими. Пусть департаменты, округа, муниципалитеты, пусть все народные общества объединятся и дружно потребуют от Конвента путем посылки и забрасывания его петициями немедленного формального отзыва всех его неверных членов, изменивших своему долгу, не желавших смерти тирана, и в особенности тех, кто вводит в заблуждение огромное число своих коллег. Такие делегаты—изменники, роялисты или неспособные люди“.

Дантон настаивал сперва на отзывании всех, не голосовавших за смертную казнь короля, но якобинцы нашли, что это будет чрезмерным и что достаточно ограничиться двумя—тремя десятками. Удаления их будет достаточно, чтобы парализовать влияние Жиронды, а вместе с тем сохранится целостность Конвента, на чем настаивал Робеспьер. Это письмо, подписанное на первом месте Маратом, как председателем собрания, было отправлено 5-го апреля, а уже 15-го апреля, по предложению жирондистов, в ответ на него Конвент постановил привлечь Марата к революционному трибуналу за призыв к нарушению неприкосновенности народного представительства.

Скрывшись на время предварительного следствия, чтобы избежать тюрьмы, которая могла бы губительно отразиться на его и без того сильно расшатанном здоровье, Марат явился на суд трибунала, на котором с большим искусством сам защищал себя.

Он отрицал приписываемое ему обвинительным актом желание унижить Конвент, ибо „никто вообще не властен оклеветать великое собрание, которое одно только может унижить себя, если изменит своему долгу“. Но он утверждал вместе с тем, что нельзя допустить, чтобы принципом неприкосновенности депутатов могли прикрываться махинации и интриги жирондистов. Революционный трибунал единодушно постановил, что „не установлено, чтобы обвиняемый в инкриминируемых ему произведениях призывал к убийству и грабежу, восстановлению единоличного главы государства, к унижению и роспуску Конвента“. Оправданный судом Марат с триумфом был внесен толпою народа на руках в Конвент.

Между тем в парижских секциях продолжалась агитация против жирондистов. На соединенном заседании секций был принят адрес, представляющий обвинительный акт против вождей жирондистов. Адрес этот, прочитанный Русселеном 15-го апреля в Конвенте, решительно отвергая мысль о роспуске Конвента, так как „большинство его чисто, ибо оно поразило тирана“, и так как это повело бы к анархии и смутам, выгодным только изменникам, требовал от департаментов голосования в пользу исключения из Конвента депутатов, преступления которых адрес подробно перечисляет. При этом адрес персонально называл 21 жирондистского депутата.

Конвент, выслушав адрес, перешел к очередным делам, хотя некоторые жирондисты с целью демонстрации предложили принять адрес, расширив его содержание предоставлением вообще департаментам решать путем голосования вопрос об удалении из Конвента любого депутата. Принятие этой поправки означало бы немедленное внесение во все департаменты пламени гражданской войны, которой не желали ни более умеренные жирондисты, в роде Верньо, ни большинство монтаньяров.

Дантон в это время снова обнаружил некоторые колебания в своей политике. С одной стороны, он продолжал посылать угрозы по адресу жирондистов; с другой, он не потерял еще окончательно надежды на возможность соглашения с ними во имя общих задач революции, полагая, что своими угрозами он заставит их сойти с того скользкого пути, на который они вступили. Этим объясняется ряд примирительных речей, произнесен-

ных им и его ближайшими друзьями (Филиппо) в начале апреля. Но было уже поздно: время для той политики широкой концентрации сил, которую все время проводил Дантон, уже прошло; для жирондистов уже не было отступления. Они ринулись в борьбу и в своих органах повели решительную атаку против „примиренцев“, против людей, желающих сохранить нейтралитет между двумя борющимися партиями. Угрожаемые резолюциями парижских секций, они поняли, что противодействовать монтаньярам и победить их они смогут, только выйдя за пределы парламентской борьбы, опираясь на провинцию и противопоставляя ее силу энергии парижского народа. И они сделали это, начав с мобилизации делегации от Лиона, жаловавшейся на засилье в городе якобинцев. Поскольку широкие массы демократии шли за монтаньярами, жирондистам ничего не оставалось, как попытаться опереться на имущие слои буржуазии, апеллируя к их собственным инстинктам против покушений на собственность, якобы исходящих от анархистов, левых и т. д. В этом отношении характерно „Письмо к парижанам“ Петитона, напечатанное в конце апреля. Призывая парижскую буржуазию к деятельному отпору этим покушениям, он писал в нем: „Ваша собственность подвергается угрозе, а вы закрываете глаза на эту опасность. Возбуждается война между имущими и неимущими, а вы ничего не предпринимаете для ее предупреждения. Несколько интриганов, кучка мятежников навязывает вам законы, увлекает вас к насильственным и неблагоприятным мерам, а у вас не хватает мужества сопротивляться; вы не решаетесь показываться в секциях, чтобы бороться с ними. Вы видите, как все богатые и мирные люди покидают Париж, вы видите, что Париж уничтожается, и вы остаетесь спокойными. Над вами производятся всевозможные инквизиции, и вы терпеливо их переносите... Граждане, сбросьте с себя летаргию и заставьте этих вредных насекомых удалиться в свои убежища“.

Стремясь опереться на буржуазию против народа, жирондисты не понимали, что идут по ложному пути, который приведет к объединению вокруг них не только жирондистских, но и определенно роялистских элементов.

С этого времени борьба между жирондистами и монтаньярами впервые принимает определенный оттенок *социальной*

борьбы,—борьбы между богатыми и бедными, между санкюлотами („бесштанниками“) и „штанами с позументами“ или „изящными ляжками“ (выражение Шометта).

Политика Робеспьера в этот момент была исторически более дальновидной, чем политика Дантона; будучи более осторожным в требовании репрессий по отношению к жирондистам, он вместе с тем понимал необходимость покончить с ними и отдавал себе ясный отчет в социальном характере начавшейся борьбы. Поэтому он охотно делал противопоставление народа, санкюлотов, имущим; но, не желая отталкивать от своей партии революционно настроенной части буржуазии, он подчеркивал все время, что революционное движение направляется не против собственности, как таковой, предпочитая в своей терминологии термины моральные терминам социально-экономическим. Так, в одной из своих речей в якобинском клубе он говорил: „Тот, кто не за народ, тот, у кого штаны с позументами,—прирожденный враг санкюлотов. Существуют только две партии: людей испорченных и людей добродетельных. Различайте людей не по их имуществу и состоянию, но по их характеру. Есть два класса людей: друзья свободы и равенства, защитники угнетенных, друзья нуждающихся и виновники несправедливого изобилия и тиранической аристократии. Таково деление, существующее во Франции. Надо провести грань между этими двумя классами, чтобы избежать гражданской войны. Санкюлоты, всегда руководимые любовью к человечеству, обычно следуют истинным принципам социального порядка: они никогда не имели в виду равенства имущества, но лишь равенство прав и счастья“. Призывая в той же речи народ к поддержке Горы, Робеспьер требовал образования в Париже армии санкюлотов для подавления аристократов, ареста последних, усиления революционной деятельности Парижской Коммуны и функционирования революционного трибунала.

Но если Робеспьер обнаруживал все-таки еще некоторую сдержанность по отношению к собственникам, то Гебер, приобревший в эти дни большую популярность среди парижской демократии, специализировался на травле жирондистов, отождествляемых им с купцами, спекулянтами, вообще буржуазией, против которой он в своем демагогическом листке „Дядя Дю-

шен“ возбуждал народную массу, рассказывая о готовящихся убийствах, заговорах против народа и т. д., призывая к решительным действиям и восхваляя благодеяние революционной диктатуры.

Известия о неудачах в Вандее усиливали эту страстную партийную борьбу. Неудачи эти, причина которых лежала на первых порах в неумении революционных войск и их генералов приспособиться к своеобразной военной тактике вандейцев, плохо вооруженных, но умевших внезапными нападениями большими массами, которые столь же быстро рассеивались, как и собирались, наносить врагу тяжелый урон, легко объяснялись парижским населением, испытывавшим измену Дюмуре, измену генералов. Как раз в апреле—мае 1793 года жирондисты и те буржуазные круги населения, на которые они опирались, стали завладевать большинством в парижских секциях. Новый способ вербовки, преследовавший цель привлечения и буржуазии к несению воинской повинности, на практике, благодаря сохранению института заместительства, дал возможность буржуазии, не идя на фронт, отдаваться участию в общественных делах в то время, как патриотически настроенные санкюлоты покидали секции, устремляясь в ряды армии. Влияние „умеренных“ в секциях становилось все более заметным, и если бы в их рядах царило единодушие, они смогли бы представить из себя силу, с которой трудно было бы справиться революционной демократии. Но аристократы в Париже, в отличие от своих братьев в Лионе, не поддержали жирондистов; последние были им слишком ненавистны и они предпочитали скорее допустить временное господство крайних левых, надеясь таким образом ускорить контр-революцию.

На́тиск жирондистов на секции вызвал решительный отпор со стороны санкюлотов. Оказавшись во многих секциях в меньшинстве, они пытались оказывать на них влияние посредством сплоченности, решительности и революционности действий. Нередко они прибегали к такому приему: оставаясь в меньшинстве по тому или иному вопросу в какой-нибудь секции, они обращались за поддержкой к более революционно настроенной секции и в соединенных заседаниях секций принимали желательные решения. Вообще революционная энергия парижского населения

1793 г. стояла на таком же высоком уровне, как 14 июля 1789 года (день штурма Бастилии) и 10-го августа (день низвержения монархии), но она стало как-то реалистичнее, сдержаннее, сочетая революционный идеализм с известной дозой практицизма. Этим практицизмом было продиктовано требование о материальном вознаграждении лиц, выполняющих общественные функции в секциях (в качестве членов наблюдательных комитетов и т. п.), яркое выражение которому дал всегда чуткий к народным настроениям Робеспьер, настаивавший перед Конвентом, чтобы „уважаемый и трудящийся класс мог участвовать в повседневной работе секций и чтобы с этой целью всякий раз, как ремесленник будет затрачивать свой дневной труд для военных целей или на присутствие в народных собраниях, он получал вознаграждение“. Вместе с тем здоровый инстинкт подсказал санкюлотам, что только овладение различными административными постами придаст им достаточную силу для борьбы с контр-революционерами и жирондистами. В ответ на усилия последних завладеть секциями санкюлоты начинают захватывать в свои руки наблюдательные комитеты секций.

С первых месяцев революции секции имели свои исполнительные органы, которые фактически были главными очагами и ячейками, откуда исходила инициатива и организация массовых революционных движений. Согласно закону 21 мая 1790 г., в каждой секции устанавливались „гражданские комитеты“ в составе 12 членов, которые были наделены полицейскими функциями и являлись как бы посредниками между секцией и Генеральным советом Парижской Коммуны. Распущенные после 10 августа 1792 года, они постановлением Коммуны были снова восстановлены, получив теперь гораздо более широкие полномочия. Правда, образование общего для всего Парижа Наблюдательного комитета Коммуны несколько ограничивало самостоятельность комитетов секций, но зато этот Центральный Наблюдательный Комитет мог успешно действовать, только опираясь на гражданские комитеты секций.

В мае 1793 года тревожное положение страны побудило некоторые секции сделать попытку расширения функций секционных гражданских комитетов, переименовав их в революционные комитеты и предоставив им в помощь учрежденному Конвентом

революционному трибуналу вести наблюдение за подозрительными элементами, производить у них домашние обыски и, в случае нужды, прибегать к употреблению вооруженной силы. Отчасти идя навстречу такому настроению, отчасти желая помешать дальнейшему посягательству секций на права центральной власти, Конвент особым декретом 21 марта 1793 года ограничил права революционных комитетов исключительно надзором за прибытием эмигрантов, но, расширительно толкуя этот декрет, комитеты фактически явочным порядком ставили под свой контроль всех граждан, начав широко практиковать систему выдачи удостоверений „гражданственности“, то-есть в революционной благонадежности. Такое удостоверение было, напр., необходимо для права носить оружие и т. п. В частности, наблюдательные или гражданские комитеты стали требовать подобных удостоверений от всех государственных служащих, произведя таким образом, революционную чистку чиновничества.

Вопрос о дороговизне и недостатке необходимых средств существования продолжал тем временем волновать население Парижа, а политика Парижской Коммуны, несмотря на ее демократический состав, продолжала оставаться в этом вопросе колеблющейся. Только под давлением Генерального совета Парижского департамента и петиций нескольких парижских секций она поддержала перед Конвентом в середине апреля требование об установлении твердых цен на зерно и запрещении свободной торговли хлебом. Из прений, неоднократно происходивших в Коммуне по этому вопросу, видно, что ее деятели, ведавшие продовольственным делом, стояли на точке зрения свободы торговли, утверждая, что хлеба в стране достаточно и что только спекуляция врагов революции создает видимость его недостатка; они призывали граждан к спокойствию, убеждая их согласиться на некоторое повышение цены хлеба соответственно цене муки при гарантии, что хлеба будет вдоволь. Одним из мотивов Коммуны против твердых цен был тот, что при отсутствии твердых цен она надеялась путем приплат из городских средств продавать парижскому населению дешевый хлеб, что стало бы невозможным при твердых ценах, которые устанавливались бы в соответствии с действительной стоимостью муки во всей Франции. Следует отметить, что Шометт уделявший всегда большое

внимание экономическим и социальным вопросам, был занят не столько волновавшим массы злободневным вопросом об урегулировании цен на продукты продовольствия, сколько выработкой и проведением в жизнь мероприятий более широкого и общего характера, как, например, уничтожение нищенства, доставление работы трудоспособным, социальное обеспечение неспособных к труду и т. д.

Руководители движения, происходившего в секциях, естественно стремились к объединению его в общую для всего Парижа организацию. Инициатива создания такой организации принадлежала секции „Прав человека“, предложившей образовать из представителей всех секций центральный Комитет общественного спасения, в задачу которого входило бы вступление в сношения со всеми департаментами Франции в целях защиты интересов народа. Хотя создание такой организации фактически являлось посягательством на прерогативы Конвента и Парижской Коммуны, легальному характеру которой противопоставлялась эта революционная по своему происхождению организация, Коммуна не решилась сначала вступить с последней в конфликт и, по предложению Шометта, взяла даже на себя расходы по уплате за помещения для ее собраний. Вожди Коммуны—прокурор Шометт и мэр Паш—отдавали себе ясный отчет в том, что, как это было и пред 10-м августа, из движения секций легко может возникнуть новое революционное восстание, связи с которым и влияние на которое они не хотели терять. Не так отнеслись к этой попытке другие революционные элементы Парижа. Некоторые буржуазно-настроенные секции протестовали перед Коммуной, обвиняя инициаторов центрального Комитета общественного спасения в узурпаторстве и перечисляя их поименно в своем протесте (в числе других названо также имя Варле). Марат тоже усмотрел в этом движении, посягающем на права наблюдательных комитетов секций, происки подозрительных элементов и потребовал ареста одного из инициаторов движения—Гренье, что и было исполнено. Вообще на первых порах движение это захватывало только наиболее пылкие и молодые элементы, не импонируя своей серьезностью, и потому даже секция Гравилье во главе с Жаком Ру, снова выплывшим на политическую авансцену, воздержалась от участия в нем, считая его преждевре-

менным. Но гравильерцы, не поддержав этой, неудачной на их взгляд, попытки группировки революционных сил, пошли к той же цели другим путем. Для этого они создали легальное собрание представителей всех официально действующих наблюдательных комитетов секций, сделав это с санкции Комитета общественной безопасности Конвента, руководство которым к этому времени перешло к монтаньярам. Последний не только пошел навстречу инициативе гравильерцев, но предложил созванному ими собранию образовать постоянный центральный комитет секционных наблюдательных комитетов, расходы по которому должны покрываться из средств Коммуны и члены которого должны получать вознаграждение. Это предложение, однако, не привело к созданию прочной организации как потому, что влияние Комитета общественной безопасности упало вследствие образования Комитета общественного спасения в начале апреля 1793 года, так и потому что секции не хотели становиться под легальную опеку Конвента, лишавшую их независимости. Они предпочли устраивать время от времени в различных секциях свои собрания, требуя только от Комитета общественного спасения вознаграждения для членов революционных комитетов, в большинстве состоящих из рабочих, за посещение этих собраний. Шометт, с своей стороны, сделал еще одну попытку пойти навстречу этому стихийному движению секций, предложив им устраивать два раза в неделю общие собрания революционных и гражданских комитетов „с целью обсуждения мер общего характера для поддержания порядка, блага республики и счастья граждан“.

Все эти попытки не привели к созданию постоянной организации и прочных революционных кадров, но они свидетельствовали о все растущем, идущем из народных масс стремлении к объединению революционных сил. В начале участники всех этих собраний не ставили себе определенных целей; они лишь инстинктивно испытывали потребность в объединении в виду тревожных событий; только постепенно перед ними стала обрисовываться практическая задача,—арест или изгнание из Конвента главарей жирондистов, казавшихся им главной причиной и очагом заговора против революции, и давление в этом направлении на Конвент.

Именно это требование прозвучало в демонстрации волонтеров, отправлявшихся в Вандею, перед зданием Коммуны в первой половине мая. Уходя проливать свою кровь за республику, — говорили демонстранты, — они желают быть спокойными за судьбу остающихся в Париже своих семейств, а для этого необходим арест подозрительных лиц, которыми кишит Париж. Под давлением этой демонстрации Генеральный совет Коммуны принял следующее постановление: „1) По окончании набора организовать оплачиваемую революционную армию, которая будет исполнять свою службу в Париже; 2) произвести обезоружение и арест подозрительных лиц“. К этому же времени относится ряд революционных собраний, происходивших в той же зале Епископства, на которых было положено начало центральному Комитету общественной безопасности и которые были преемственно связаны с этим центральным Комитетом, имя которого, впрочем, не сохранилось, так как его участники не находили тактичным присваивать себе то же самое имя, какое носил Комитет Конвента.

Вследствие отрицательного отношения к этому движению Робеспьера и Марата, Коммуна, сочувствуя ему в душе, не решалась оказывать ему открытого покровительства. Поэтому она старалась придать ему по возможности более легальный характер, предложив созвать общее собрание делегатов всех секций, революционных и гражданских комитетов для обсуждения „решительных, действительных и единообразных мер для взыскания принудительного займа“ у буржуазии. Стремление Коммуны отвлечь движение от политики в сторону экономических мероприятий свидетельствует, что к половине мая 1793 года секции уже стали центром революционного движения и политической силой, перед которой облеченная законной властью Коммуна невольно начинала ступеньваться.

Жирондисты прекрасно понимали угрожающую им опасность со стороны этого движения и имели достаточно личного и политического мужества, чтобы идти ей навстречу. Тон их статей и брошюр (Бриссо, Верньо, Лувэ, Горсас) принял в это время резко вызывающий характер. Так, напр., „Французский патриот“ писал: „Ясно, что готовится новое движение. Должны ли патриоты приходить в отчаяние? Нет, они должны

даже желать его больше, чем сами его инициаторы. Уже давно республиканизм и анархия противостоят друг другу, и между ними происходят только, так-сказать, мелкие стычки. Это пагубное состояние не может более продолжаться. Нам грозят сражением не на жизнь, а на смерть. Превосходно! Примем его; если мы окажемся победителями, Республика будет спасена; если мы падём, нам на смену придут департаменты: за нас найдутся мстители; у Республики окажутся спасители, так как Республика не может погибнуть“. А Лувэ со свойственным ему пылом восклицал: „Невозможно никакое примирение между гордыми республиканцами, преданными свободе, и вероломными роялистами, предавшимися тирании; между добродетелью и преступлением должна быть непримиримая, вечная война“. Начавшееся в провинции движение, направленное против якобинцев и Парижа, придавало жирондистам бодрости. В ряде департаментов и провинциальных городов комиссары Конвента, принадлежавшие к монтаньярам, наткнулись на противодействие населения предпринимаемым им мерам, констатируя рост оппозиционного настроения. При этом во многих случаях, рядом с жирондистскими мотивами, в этом оппозиционном движении против якобинского и анархистского засилья в Конвенте явно слышатся и определенные роялистские голоса. Особенно заметно было реакционное настроение в Марселе, еще недавно бывшем одним из главных революционных центров, который приветствовал смертную казнь, совершенную над королем, торжественной иллюминацией. Эту перемену в настроении можно объяснить несколькими причинами: с одной стороны, экономический кризис, дававший сильно чувствовать себя населению Марселя, содействовал росту контр-революционных настроений, с другой, немалое значение имела нетактичная политика комиссаров Конвента, которые предприняв в Марселе ряд решительных и репрессивных мер, как, напр., создание революционного трибунала и революционной армии для борьбы с контр-революцией на всем юге, не сумели вместе с тем объединить вокруг себя все революционные силы Марселя, дав широкий простор взаимной борьбе партий и кружков, из которой извлекали пользу только реакционные роялистские группы. Наконец, надо иметь в виду и то обстоятельство, что в Марселе всегда были сильны монар-

хические элементы (во флоте), которые воспользовались теперь борьбой, разыгрывающейся в Париже между жирондистами и монтаньярами, чтобы снова поднять голову и выплыть на поверхность. Прикрываясь знаменем приверженности к революции, угрожаемой якобы комиссарами Конвента, марсельские роялисты добились смены прежних муниципальных властей и завладели муниципалитетом. Жирондисты, сочувствовавшие антиякобинскому движению, не видели или закрывали глаза на контр-революционный характер этого движения. Движение аналогичное марсельскому, имело также место в Нанте и Бордо.

Между тем в Париже все более складывалось убеждение в необходимости так или иначе покончить с Жирондой. Жирондисты с своей стороны, готовились перейти в наступление, призвав департаменты подняться против Парижа. Среди элементов, группировавшихся вокруг Горы, Коммуны и клуба якобинцев, не было, однако единодушия в вопросе о тактике: часть, более пылкая, требовала немедленных решительных наступательных действий против Жиронды вплоть до восстания. Другая, представителями которой были Робеспьер, Сантерр и Тюрио, стояла за выжидательный образ действий и за легальные методы борьбы с жирондистами, не нарушающие принципа неприкосновенности депутатов и не причиняющие ущерба идее национального представительства. 17-го мая в клубе якобинцев по этому вопросу возникли страстные прения, во время которых из уст собравшейся публики раздавались возгласы решительного неодобрения умеренной тактике Робеспьера. Некоторые из выступавших ораторов прямо призывали к восстанию и требовали предания суду революционного трибунала главарей Жиронды. Несмотря на такое настроение многих своих членов и успех среди них взглядов „бешеных“, якобинский клуб не решался еще встать на путь восстания. Он ограничился только изданием от своего имени ядовитого памфлета Камилла Демулена „История бриссотинцев, или тайная история революции“, полного клеветнических выхонок против жирондистов. Не приводя никаких фактов, Демулен утверждал, что существуют несомненные доказательства англо-прусско-жирондистского заговора в пользу восстановления во Франции конституционной монархии, и, с точки зрения этой мнимой цели жирондистов объяснял все

их поведение на протяжении четырех лет революции. Заканчивался обвинительный акт Демулена против жирондистов требованием гильотинировать их и указанием, что очищение от жирондистских элементов Конвента не только не ослабит, но, напротив, усилит значение последнего. В положительной части памфлета Демулен рекомендовал Республике ряд мер экономического и культурного характера, которые следует заимствовать из времен афинской демократии (экономическо-финансовые реформы Солона; организация первоначальных школ, бесплатных ремесленных и технических школ и т. д.).

События продолжали развиваться с поразительной быстротой. Арест революционным комитетом мирового судьи Ру дал повод жирондистам к внесению запроса в Конвент и к бурным прениям (18-го мая). Во время последних жирондист Гюаде внес предложение, в виду неоднократных превышений власти со стороны различных муниципальных должностных лиц, распустить их, заменив их председателями секций; вместе с тем он высказался за перенесение заседаний Конвента из Парижа в провинциальный город Бурж (контр-революционный, направленный против Парижа, смысл этого предложения не подлежал никакому сомнению).

По предложению всегда уклончивого и осторожного Барера, Конвент постановил избрать комиссию в составе 12 лиц для выяснения политического положения и обнаружения заговоров, угрожающих свободе и закону. В комиссию эту избраны были частью определенные жирондисты, частью близкие к ним депутаты. Избрание комиссии 12 в таком составе было победой жирондистов, и реакцией на это со стороны революционных элементов явилась на следующий же день делегация клуба кордельеров и революционного общества женщин к клубу якобинцев. Оратор от имени этой делегации требовал немедленного обвинения и предания суду вождей жирондистов, ареста всех подозрительных лиц и образования революционных трибуналов во всех департаментах и во всех парижских секциях. Далее он призывал к решительной борьбе со спекулянтами, составившими вместе с аристократами заговор с целью уморить голодом парижское население (обычный мотив „бешеных“). Председательствовавший в заседании Бентаболь, присоединяясь

к выводам оратора, заявил, что последним аргументом народа является восстание.

Настроение низов в секциях явно опережало настроение более сдержанно настроенных якобинцев, постепенно увлекая их за собой. На одном из таких собраний по провокационному предложению двух полицейских агентов был принят бессмысленный план похищения и умерщвления 22-х жирондистов. Этот факт дал комиссии 12-ти желанный повод приступить к действиям. 24-мая ею издано было два декрета: первый ставил Конвент под охрану вооруженных граждан, а также запрещал заседания секций после 10 час. вечера¹⁾ и устройство совместных заседаний нескольких секций, требовал представления протоколов заседаний и возлагал ответственность за соблюдение этих правил на комиссаров секций; второй декрет постановлял арестовать заместителя прокурора Коммуны Гебера (за его статью, возвещавшую, что пробил час смерти жирондистов), Варле и двух вышеупомянутых полицейских по обвинению в подстрекательстве к убийствам.

Гебер подчинился декрету и отдался в руки властей. Коммуна ограничилась призывом к Конвенту тщательно расследовать дело и в случае, если слухи о заговоре верны, подвергнуть серьезному наказанию „агентов Питта“ (английского премьер-министра). Таким образом Коммуна продолжала занимать выжидательную и оборонительную позицию. Генеральный совет ее постановил внести в Конвент запрос по поводу нарушения прав человека и свободы печати, выразившейся в аресте должностного лица — Гебера, и призвать секции, не переступая рамок, протестовать против этого нарушения; одновременно Генеральный совет призвал к исполнению своего патриотического долга одну из секций, постановившую приостановить отправку волонтеров в Вандею впредь до того, как будут подавлены заговорщики внутри Парижа, обещая, что законные власти не дадут спуска контр-революционерам.

Собранием Конвента 25-го мая, на котором оглашался адрес Коммуны, председательствовал жирондист Иснар. В ответ на

¹⁾ Это постановление, очевидно, метило в рабочих, которые при обычно чрезвычайно продолжительном рабочем дне могли участвовать в политических собраниях только поздно вечером.

адрес он разразился вызывающей речью, заканчивавшейся ставшими знаменитыми словами: „Если когда-нибудь Конвент будет унижен, если когда-нибудь в результате одного из мятежей, которые беспрерывно окружают Национальный Конвент, начиная с 10-го марта и против которых власти предпринимают всегда только запоздалые меры, если, повторяю, в результате этих возобновляющихся восстаний дело дойдет до посягательства на национальное представительство, то я вам заявляю от имени всей Франции, что Париж будет сравнен с землей и скоро на берегах Сены придется искать место, где он находился“.

Эта угроза Парижу, произведшая огромное впечатление, вызвала только слабую реплику со стороны Дантона, развившего свою обычную тему о необходимости объединения всех сил Парижа и департаментов, в этот момент уже устаревшую и свидетельствовавшую о том, что проницательный государственный деятель начал сильно отставать от событий.

Между тем одна секция за другой присоединялась к протесту Генерального совета Коммуны по поводу ареста Гебера, требуя роспуска комиссии 12-ти. Впрочем, на первых порах в протесте приняла участие только $\frac{1}{3}$ всех секций (16 из 48), что доказывает, что возбуждение умов не достигло еще высшей степени напряжения. Но движение стало заметно усиливаться после того, как Конвент прошел мимо протеста. В секциях санкюлоты начали одерживать верх над своими противниками. Секции игнорировали при этом ограничения, установленные для их деятельности комиссией 12-ти, то открыто нарушая, то формально обходя их. Начавшееся движение не ограничилось собраниями секций, но вылилось также в уличные демонстрации (демонстрация женщин 26-го мая).

Под давлением событий и растущего революционного настроения в секциях, и Марат и Робеспьер отказались от своей оборонительно выжидательной тактики, переходя к более определенной позиции. Марат, напр., произнес в клубе якобинцев следующую фразу: „Необходимо уничтожить чрезвычайную комиссию 12-ти, в планы которой входит подвести под меч закона энергичнейших друзей народа; необходимо, чтобы вся Гора поднялась против этой недостойной комиссии, чтобы последняя подверглась публичному осуждению и была раз навсегда уничи-“

тожена“. Некоторые другие якобинцы пошли еще дальше Марата, настаивая на предании комиссии суду революционного трибунала.

В искусно построенной и тщательно продуманной речи в якобинском клубе Робеспьер наметил среднюю линию между своей прежней тактикой легальных действий и стремлением к новому восстанию, обозначившемуся в секциях. Подвергнув резкой критике выступление жирондистов (в частности, циркулярное письмо, написанное Верньо), Робеспьер перешел к оправданию в принципе насилия и восстания: „Когда народ угнетен, когда ему остается рассчитывать только на самого себя, трусом был бы тот, кто не призвал бы его к восстанию. Когда все законы нарушаются, когда деспотизм достигает крайних пределов, когда доброжелательность и стыд попираются, народ должен восстать. Этот момент теперь наступил. Наши враги открыто подавляют патриотов; именем закона они хотят ввергнуть народ в нищету и рабство. Я никогда не был другом этих испорченных людей, несмотря на все соблазны, которые они передо мной расточали, ибо я предпочитаю умереть вместе с республиканцами, чем торжествовать вместе с этими преступниками“.

Существуют два вида управления,—продолжал он,—или народ управляется сам, или через своих уполномоченных. „Мы, депутаты-республиканцы, хотели установить народное правительство при помощи ответственных перед народом уполномоченных; в согласии с этими принципами мы и высказывали свои мнения, но слишком часто нас не желают слушать. Сигнал, данный председателем Конвента¹⁾, лишает нас права голоса. Я полагаю, что суверенитет народа нарушается, когда его уполномоченные дают места, принадлежащие народу, своим ставленникам“. Исходя из этого, Робеспьер делал призыв к восстанию: „Я приглашаю народ поднять внутри Национального Конвента восстание против всех негодных депутатов. Я заявляю, что, получив от народа право защищать свои права, я считаю угнетателем всякого, кто меня прерывает, кто лишает меня слова, и я заявляю, что я лично выступаю с восстанием против председателя и всех членов, заседающих в Конвенте... Я приглашаю

¹⁾ Намек на лишение слова некоторых депутатов Горы председателем Иснар.

всех депутатов монтаньяров объединиться для борьбы с аристократией; я утверждаю, что пред ними стоит альтернатива: или сопротивляться изо всех своих сил, всеми имеющимися в их распоряжении средствами усилиям интриганов, или сложить свои полномочия“.

Речь Робеспьера сопровождалась бурными аплодисментами. Члены собрания единодушно поднялись со своих мест, заявив, что об'являют восстание против негодных депутатов. Но, в сущности, предлагаемая Робеспьером мера была скорее призывом к внутрипарламентскому восстанию депутатов при поддержке публики на трибунах против произвольных действий жирондистского председателя и тирании жирондистской партии, чем к народному уличному восстанию.

При таком настроении умов положение Жиронды было чрезвычайно тяжелым. Разжигая своим поведением страсти гражданской войны, она не имела за собой сил, на которые могла бы в ней опереться. Большинство секций было враждебно ей, на вооруженные силы Парижа она рассчитывать не могла; большая часть министров обнаруживала нерешительность, не смея стать всецело на сторону партии, почва под которой уже начала колебаться; среди самих жирондистов находились сомневающиеся и колеблющиеся.

Следующее заседание Конвента, 27-го мая, прошло еще более бурно, чем предыдущее. В ответ на петицию,—протест секции „Общины“ по поводу ареста ее председателя и секретаря,—Иснар снова разразился угрозами: „Конвент сказал он,—орган национальной воли, который не позволит воздействовать на себя насилию; он всегда будет проповедовать повиновение законам, безопасность лиц и собственности, войну аристократам и анархистам“. Робеспьеру, попросившему слова, было в нем отказано, несмотря на настояния всей Горы. Дантон, взяв себе слово захватным путем, решительно протестовал против насилия, угрожая сопротивлением всей левой. Народ, собравшийся у здания Конвента, узнав о совершающихся внутри него насилиях, ворвался в зал заседания, смешавшись с депутатами. Выступление министра внутренних дел Гара, старавшегося внести успокоение в разгоряченную атмосферу Конвента, оказалось фактически направленным против Жиронды, поскольку

он критически отзывался о действиях комиссии 12-ти и признавал спокойствие, обнаруженное санкюлотами, Дантон, как и в предыдущем заседании, произнес бесцветную речь, не удовлетворившую монтаньяров. После того, как толпа ворвалась в зал заседаний, Иснар передал председательство своему товарищу по партии Бойе-Фонфреду, но это не удовлетворило протестантов. Жирондисты попытались закрыть заседание, но это им не удалось: председательское кресло занял монтаньяр Эроде-Сешелль, который, отвечая на требования делегатов секций об освобождении Гебера, произнес следующие торжественные слова: „Граждане, сила разума слилась с силой народа; вы приходите в этот момент требовать справедливости; наш самый священный долг оказать ее“.

Делегация секции Гравилье потребовала в резких выражениях немедленного освобождения арестованных патриотов, уничтожения комиссии 12-ти и предания суду Ролана. Конвент голосованием решил вопрос об уничтожении комиссии в положительном смысле. Несмотря на достигнутый успех, якобинцы все еще не решались перейти в открытое выступление. В своем заседании в тот же вечер они отвергли все предложения, клонившиеся к организации подготовительных шагов к восстанию, и разошлись, не приняв никаких определенных решений. Напротив, ночное заседание Коммуны прошло с чрезвычайным подъемом.

Собравшись на следующий день без посторонней публики, Конвент подверг заново обсуждению вопросы, рассматривавшиеся накануне под давлением народа, восстановил комиссию 12-ти и лишь в виде компромисса постановил освободить арестованных. Теперь становилось все более ясно, что победить жирондистов на легальной почве невозможно; все больше складывалось и распространялось убеждение, что решающее слово должно быть произнесено самим народом. Необходимо было действовать, ибо Жиронда уже мобилизовала вооруженные силы умеренных секций. С этой целью вожаки движения решили созвать на 29 мая представителей всех секций для организации восстания. В этот именно день Комитет общественного спасения, по инициативе Барера и Дантона, выпустил циркуляр, написанный Линдэ и пытавшийся внести умиротворяющие ноты.

В отличие от Дантона, Робеспьер к этому времени принял твердое решение. В клубе якобинцев он говорил 29-го мая: „Если Парижская Коммуна не соединится с народом, если она не образует вместе с ним тесного союза, она нарушит свой первый долг и потеряет право на популярность, которой она до сих пор пользовалась. В эти решительные минуты кризиса муниципалитет должен оказать сопротивление угнетению и потребовать права справедливости против преследований патриотов. Когда становится очевидным, что отечеству угрожает величайшая опасность, обязанность представителей народа умереть за свободу или добиться ее торжества“. Но Робеспьер отказывался указать восстающему народу способы действия, предоставляя ему самому избирать надлежащие пути, ибо только сам народ своими коллективными действиями творит революцию. Вообще в этом заседании якобинцев крайнее течение маратистов, желавшее руководить готовящимся восстанием, явно преобладало над более умеренным дантонистским, все еще не терявшим надежды на мирный исход столкновения. Но руководящая роль принадлежала все же не якобинцам. Революционные силы группировались вокруг заседаний секций в зале Епископства, избравших исполнительный революционный комитет сперва в количестве 6, а потом 9 лиц; в этой организации преобладали „бешеные“, и большим влиянием пользовался также Гебер. Заседания в Епископстве имели двоякий характер: с одной стороны, это были широкие открытые собрания, на которых обсуждались меры более или менее легального свойства, как то: назначение Коммуной временного командующего национальной гвардией, обращение к департаментам насчет согласования действий, призыв к другим секциям присоединиться к протесту против комиссии 12-ти, требование осуждения Иснара за его речь и т. д.; с другой стороны, тайные заседания тесного круга лиц, которые оставались неизвестными комиссии 12 и на которых обсуждались и принимались практические меры к организации восстания.

Чтобы придать начинающемуся восстанию возможно более широкий характер и привлечь на его сторону хотя бы часть буржуазии, необходимо было успокоить последнюю, что дело все не идет о покушении на собственность и что последней

ничто не угрожает. В этих целях собрание приняло резолюцию, в которой говорилось, что всякая собственность находится под охраной санкюлотов и никакие покушения на нее не будут допущены. Попытки привлечь Коммуну к организации восстания окончились неудачей: при всем своем сочувствии движению и ненависти к жирондистам, Коммуна, связанная своим официальным положением, не хотела брать на себя за него ответственность. Она отказалась назначить главнокомандующего парижской национальной гвардией, что составляло прерогативу Конвента, намекнув, впрочем, что не будет противодействовать его назначению революционерами. По той же причине она отказалась дать свою санкцию антирелигиозной манифестации, назначенной на 29-го мая секцией Гравилье под влиянием агитации Гебера.

Одновременно с собраниями секций, происходившими в Епископстве и руководимыми Варле, Добсенем и другими „бешеными“, возникла другая революционная организация,—собрание всех властей и секций парижского департамента, созданное 31 мая в помещении клуба якобинцев. Эта новая организация, руководимая, главным прокурором парижского департамента Люиллье, повидимому, стремилась занять промежуточную позицию между крайностями „бешеных“ и черезчур осторожной тактикой Коммуны и якобинцев. Большую энергию развил также в эти дни Марат, прекративший на это время издание своей газеты, чтобы всецело отдаться практической деятельности. Его тонкое политическое чутье подсказало ему, что настал момент для решительных действий и что без революционного выступления народа не удастся то, что он считал важнейшей задачей дня,—уничтожение господства жирондистов. Марат отнюдь не желал их личного истребления посредством самосуда: он имел в виду покончить с ними законным путем при помощи революционного трибунала и в этом резко расходился как с Варле, так и с Гебером, призывавшими к народной расправе с жирондистами. Но при этом Марат желал быть вместе с народом, стоять над всеми партиями, группировать и воодушевлять энергию всех, придавая организованность стихийному народному движению. Своим лозунгом—предания жирондистов суду революционного трибунала—он имел в виду дать движению конкретную цель и определенные организационные формы.

Движение, разрастаясь с каждым днем, приняло столь внушительные размеры, что его не могла уже остановить никакая сила. Это понял, наконец, и Дантон. В качестве официального лица—члена Комитета общественного спасения—он не смог открыто примкнуть к движению, но решил содействовать ему, добившись бездействия Комитета в решающие дни 30 и 31-го мая. Коммуна почти непрерывно заседала в эти дни и была в курсе всего происходящего; она знала, что днем для восстания назначено 31-е мая. Мэр Паш, сочувствовавший восстанию, сознательно не предпринимал никаких шагов к его предупреждению, действуя в полном согласии с Маратом.

В 3 часа ночи с 30-го на 31-ое мая зазвонил набат. Восстание начиналось. Генеральный совет Коммуны выработал обращение к населению с призывом к спокойствию и с указанием, что законные власти примут надлежащие меры. Между 6 и 7 часами утра улицы стали наполняться отрядами вооруженных людей. Комиссары секций заняли помещение Коммуны, и избранный председателем Добсен открыл заседание словами: „Парижский народ, пораженный в своих правах, принял меры для сохранения своей свободы. Он освобождает все конституционные власти от их полномочий“.

Коммуна решила не сопротивляться. Она потребовала только проверки полномочий присутствующих, чтобы убедиться, что собрание действительно выражает волю большинства парижских секций, которой она готова подчиниться. И когда выяснилось, что присутствуют полномочные комиссары 33 секций (из 48), Генеральный совет заявил о сложении своих полномочий. Произошла торжественная сцена братания уходящих и их заместителей,—и те, и другие единодушно приняли следующую присягу: „Клянусь оставаться верным республике, единой и неделимой; поддерживать всеми силами и средствами святую свободу, святое равенство, личную неприкосновенность и уважение к собственности или умереть на своем посту, защищая священные права человека. Клянусь, кроме того, жить в республиканском союзе с моими братьями; наконец, клянусь верно и мужественно выполнять обязанности, которые могут быть на меня возложены“. Новая революционная Коммуна с первого же шага употребила остроумный тактический прием: она предло-

жила прокурору, совету и всем должностным лицам сложившей свои полномочия Коммуны войти в свой состав и продолжать выполнять свои прежние функции. Этим достигались преемственность между обеими Коммунами и незаметный переход от Коммуны законной к Коммуне революционной,—то, чего не было при восстании 10-го августа. Это, наконец, создавало необходимое единение революционных сил и устраняло лишние трения и раздоры. Аналогичным образом были реорганизованы департаментские власти. Генеральный совет новой Коммуны принял название Революционного Генерального совета. Первым его шагом было назначение главнокомандующим парижской национальной гвардией Анрио, одного из крайних левых деятелей секции санкюлотов. Движение развивалось, однако, довольно медленно. Участники его, казалось, были охвачены какой-то раздумчивостью; многие, повидимому, сомневались, не будет ли уничтожение Жиронды поражением самого Конвента; некоторые беспокоились, не подвергается ли опасности собственность. Набатный колокол продолжал тем временем звучать; заставы у в'езда в город были закрыты; все большее количество вооруженных людей придвигалось к Конвенту; наконец, послышался бой барабанов и сигнальные выстрелы пушек, данные по приказанию Анрио в нарушение закона, предоставлявшего право давать эти сигнальные призывы только Конвету.

В Конvente монтаньяры решили на этот раз идти до конца: перед ними была дилемма: погибнуть или победить. После доклада Паша о событиях в Париже и сложении Коммуной своих полномочий, жирондисты обрушились на Анрио, узурпировавшего права Конвента. Речи жирондистов произвели довольно сильное впечатление, и положение монтаньяров было не из легких: осудить Анрио значило внести дезорганизацию в народное движение; солидаризироваться с ним было рискованно, так как это могло увлечь их за самыми крайними элементами,—дальше Паша, Гебера, Шометта и Люиллье, в сущности, не одобрявших действий Анрио. Положение спас Дантон, который после владевшей им в последние недели нерешительности снова обрел в себе мужество и находчивость. Резко критикуя действия комиссии двенадцати, он изобразил тревожный пушечный сигнал не как призыв к восстанию против Конвента, а как призыв к

народной защите его от врагов; в заключение он потребовал роспуска комиссии и предания суду ее членов. „Я приглашаю вас, представители народа,—говорил он,—обнаружить беспристрастие, обратить в пользу родины ту энергию, которую только дурные граждане могут считать опасной; если же некоторые люди, действительно опасные, независимо от партий, к которым они принадлежат, захотят продолжить движение, которое будет бесполезным после того, как вы совершите акт справедливости, сам Париж сумеет ввергнуть их в небытие“. Предложение Дантона, в сущности, было половинчатым: движения народа против жирондистов уже нельзя было остановить преданием суду ненавистной комиссии. Оно вместе с тем дало возможность жирондистам оправиться от охватившего их смущения. С примирительной красноречивой речью выступил Верньо: „Я далек от того,—сказал он,—чтобы обвинять большинство или меньшинство жителей Парижа; сегодняшний день показал вам, как Париж любит свободу. Достаточно пройти по улицам и увидеть царящий там порядок, проходящие по ним многочисленные патрули, чтобы постановить, что Париж оказал большую услугу родине... Да, я предлагаю, чтобы вы постановили, что секции оказали большую услугу родине, поддержав спокойствие в день кризиса, и что вы приглашаете их продолжать такую же бдительность до тех пор, пока все заговоры не будут разоблачены“.

Конвент единогласно принял предложение Верньо, и шансы жирондистов снова значительно поднялись. Тогда Барер от имени Комитета общественного спасения внес формулу перехода об уничтожении комиссии 12-ти и передаче вооруженной силы Парижа в распоряжение Конвента. Этим предложением, восстанавливавшим верховную власть Конвента, одновременно наносился удар как жирондистам, так и революционным элементам Епископства и Коммуны. Но пока Конвент решал все эти вопросы, на сцену выступили революционные силы департамента, собрание должностных лиц и секций которого приняло постановление о назначении особой комиссии 11-ти для осуществления необходимых мер, диктуемых интересами общественного блага. Делегация этого собрания появилась у решетки Конвента, и от ее имени Люиллье произнес резкую речь против жирондистов, предающих свободу и готовых отдать Францию в руки

нового деспота. „Законодатели,—говорил он,—мы пришли разоблачить бесстыдство и помешать обману; мы пришли от имени департамента изложить вам его символ веры. Мы пришли заявить вам, что верный принципам и подчиняющийся законам Парижский департамент будет поддерживать ценой своей крови достойных представителей народа“. Подчеркивая необходимость единства и неделимости Республики и обещая борьбу со всякого рода феодализмом, Люиллье продолжал: „Мы заявляем, что, победив и изгнав деспотизм в бессмертный день 10-го августа, мы до последнего вздоха будем бороться со всеми тиранами; кто бы они ни были, которые пожелали бы его восстановить“. Требуя наказания виновных в клевете на парижский народ, Люиллье по имени назвал ряд имен жирондистов, подлежащих преследованию. „Законодатели,—закончил он свою речь,—пойдите навстречу желаниям благородной нации, которая почитает вас своим уважением: вы установите этим спокойствие и потушите огонь гражданской войны; при помощи святого единения всех граждан вы скоро восторжествуете над осаждающей нас шайкой тиранов. Тогда конституция пойдет быстрыми шагами вперед“.

Речь Люиллье, восстанавливающая права революционного Парижа, сильно облегчила положение монтаньяров. После неудачной попытки жирондистов, по предложению Верньо выйти на площадь, чтобы продолжать заседание среди народа под охраной вооруженной силы, неудачной потому, что монтаньяры остались в зале заседаний, а народ холодно встретил вышедших к нему депутатов, слово взял Робеспьер, который теперь, под влиянием событий, решил идти до конца, не останавливаясь на полдороге. „Не будем, сказал он,—терять день в пустых возгласах и недостаточных мерах. Этот день,—может быть, последний день борьбы патриотизма с Жирондой. Пусть верные представители народа соединятся для обеспечения его счастья“. Указав на недостаточность мер, предложенных Комитетом общественного спасения, Робеспьер продолжал: „Уничтожьте эту комиссию (12), но примите строгие меры против составляющих ее членов; с этой точки зрения, петиционеры, которых вы только-что выслушали, указали вам путь, которым вы должны идти“, и он закончил речь предложением принять постановление об осужде-

нии главарей жирондистов. Конвент, несмотря на то, что никто из жирондистов не решился выступить с ответом на сильную речь Робеспьера, не последовал за ним, ограничившись принятием предложения Барера, подтверждением декрета Коммуны об уплате рабочим, остающимся под ружьем, по 40 су в день и неограниченным допущением публики в заседание Конвента.

Голосования Конвента, с одной стороны, вызвали некоторое разочарование в населении, ожидавшем более решительных шагов; с другой стороны, они дали некоторый выход напряженной революционной энергии, обещая успокоение после пережитых волнений. На улицах перед Конвентом начались сцены братания между буржуазными и санкюлотскими отрядами национальной гвардии. Печать, в общем, также с удовлетворением отмечала исход дурного дня.

В Коммуне этот исход вызвал разочарование и вместе с тем ослабление энергии. На предложении некоторых крайних предпринять решительные шаги против Жиронды, Гебер, Шометт и Паш отвечали возражениями, предостерегая от раздувания гражданской войны и предлагая удовлетвориться пока достигнутыми результатами,—признанием со стороны Конвента заслуг парижского населения. Напротив, в клубе якобинцев в этот вечер преобладало более решительное настроение: здесь понимали всю опасность принятой Конвентом формулы Верньо, до некоторой степени восстанавливавшей падавший авторитет Жиронды. Особенно резким было выступление Билльо-Варенна, упрекавшего монтаньяров за проявленные ими в Конвенте колебания. Депутаты не должны были, по его мнению, расходиться раньше, чем добиться обвинительного акта против жирондистских министров Лебрена и Клавьера. Необходимо нанести решительный удар жирондистам: в противном случае они предпримут все меры, чтобы направить в департаментах движение, начавшееся в Париже, против монтаньяров. Необходимо добиваться ареста жирондистских депутатов (вождей), а Парижу оставаться на ногах, пока не будет достигнута победа. Но, несмотря на страстные и резкие речи, дело ограничилось одними только ими. Появившийся 1-го июня первый номер „Газеты Горы“, собственного органа монтаньяров, также расплывался в общих рассуждениях доктринерского характера.

Начало действиям и на этот раз было положено Революционным комитетом Епископства. Первым шагом его был арест госпожи Ролан (жены министра внутренних дел, вдохновительницы жирондистов); вторым — воззвание к парижским секциям от 1-го июня, излагающее события предыдущего дня. „Мы уже добились первого успеха,—говорило воззвание,— Конвент уничтожил инквизиторскую комиссию 12 и поручил специальному комитету расследовать поведение ее членов. Другой декрет подтвердил постановление Коммуны, обеспечивающие 40 су в день рабочим, вынужденным взяться за оружие в эти дни кризиса... Наконец, Конвент заявил, что секции оказали большие услуги отечеству. На основании того, что произошло вчера, мы будем ждать того, что произойдет завтра. Граждане, будьте наготове, опасности родины заставляют вас творить законы“.

План Революционного комитета состоял в том, чтобы на следующий день оказать новое давление на Конвент посредством петиции, решительно требующей ареста жирондистов.

Заседание Конвента было непродолжительным, и он разошелся к тому времени, когда Коммуна решила явиться к нему с петицией. По настоянию Дантона, Комитет общественного спасения решил вечером созвать его на экстренное заседание.

1-го июня 12 делегатов Коммуны и 6 делегатов Революционного комитета представили Конвенту угрожающий адрес, который гласил: „Народ восстал. Мы требуем обвинительного декрета против Петиона, Гюаде Жансонне, Верньо, Бюзо, Бриссо, Барбару, Шамбона, Бирото, Рабо, Горсаса, Фонфреда, Лантена, Гранженева, Легарда, Лесажа, против 27 депутатов“. Под таким давлением Конвент постановил, чтобы Комитет общественного спасения в трехдневный срок представил доклад по вопросу, выдвинутому петиционерами. Это была большая уступка, но народ слишком устал и был в слишком напряженном состоянии, чтобы ждать еще три дня. И Революционный комитет решил 2-го июня покончить с Жирондой. Жирондисты понимали, что их дело проиграно, но, собравшись вечером 1-го июня в неполном составе, они не могли остановиться ни на каком определенном решении. Часть предлагала скрыться, не явившись на заседание Конвента 2-го июня, где их могли арестовать; другие настаивали на том, чтобы идти навстречу опасности; третьи пред-

лагали разехаться по департаментам и поднять там восстание против Парижа.

Судьбу жирондистов, уже обреченных на гибель, ускорило полученное в этот день известие о том, что 29 мая в Лионе произошел контр-революционный переворот: яacobинский муниципалитет свергнут, и вождь монтаньяров Шалье брошен в темницу. Это известие, а также сообщение о подобных контр-революционных движениях в некоторых других южных городах подлили масла в огонь. Контр-революционная угроза стала принимать реальные очертания. Теперь вожди восстания решили действовать наверняка. Анрио сосредоточил с утра 2-го июня вокруг Конвента только наиболее надежные части национальной гвардии, в количестве 5—6 тысяч человек. Под этой надежной охраной петиционеры, явившиеся в Конвент, потребовали немедленного ареста 22 жирондистских депутатов. Уступая давлению народа, депутаты „болота“ внесли предложение о *временном* аресте указанных депутатов, против чего от имени монтаньяров резко запротестовал Левассер: „Трусливое предложение Болота,—утверждал он,—наихудшее из всех возможных средств, ибо, предполагая возможной невиновность обвиняемых, оно лишает всякого значения восстание, которое должно же дать какие-нибудь результаты; в то же самое время оно предоставляет в жертву народной ярости людей, смерти которых мы вовсе не желаем; кроме того, оно позорит Конвент, признавая, что мы до известной степени уступаем чувству страха и давлению“. И Левассер потребовал немедленного ареста 22 членов комиссии 12. Только двое жирондистов, Ланжнинэ и Барбару, решались протестовать против возводимых на них обвинений.

Тогда Барер в последний раз сделал попытку компромисса: от имени Комитета общественного спасения он предложил, чтобы обвиняемые жирондисты сами сложили свои депутатские полномочия, что избавляло их от ареста. Часть жирондистов выразила свое согласие на это, но другие с возмущением запротестовали против такого самозаклания. Против предложения Барера выступил также с резкой речью Марат, говоря, что нельзя давать возможность обнаруживать самопожертвование людям, обвиняемым в измене. „Эта мера только ожесточила бы умы и возмутила бы народ, дав ему понять, что он не получит удовлетво-

рения; она обернулась бы даже в пользу изменников". В свою очередь, в качестве гарантии справедливости обвинения, Марат предложил от имени своего и некоторых других монтаньяров сложить свои полномочия в случае ареста жирондистов.

Монтаньяры некоторое время были в нерешительности: с одной стороны, они желали поразить Жиронду; с другой, они опасались действовать под непосредственным давлением народа, боясь ущерба от этого авторитету Конвента и нареканий, что он действует, будучи связан по рукам и ногам. Поэтому весь Конвент охотно принял предложение Барера, сводившееся к тому, чтобы депутаты в полном составе вышли на площадь и свободно решали вопрос на виду у народа. Это было повторением предложения Верньо, но в другой обстановке, и оно привело не к тем результатам, к каким, вероятно, стремился, внося его, Барер. Потолкавшись по двору, приветствуемые восторженным народом, депутаты вернулись в зал заседания, — и, по предложению Кутона, декрет Конвента постановил немедленно заключить под стражу Верньо, Бриссо, Гюаде, Горсаса, Петiona, Салля, Шамбона, Барбару, Бюзо, Бирото, Рабо-Сент-Этьена, Ласурса, Ланжнинэ, Гранженева, Лесажа, Лувэ, Валазе, Дульсе, Лидона, Легарди и всех членов комиссии 12, кроме Фонфреда и Сен-Мартена, а также министров Клавьера и Лебрена.

Парижский департамент, благодаря Конвенту за спасительное для отечества голосование, постановил наметить из своей среды заложников в количестве, равном числу арестованных ответственных пред их избирателями за их безопасность.

Борьба между Жирондой и Горой закончилась поражением первой.

Каковы же были причины этого поражения?

Неверно утверждение некоторых историков, что они коренились в том, что жирондисты представляли собой буржуазию, а монтаньяры — пролетариат. На самом деле различие в социальных воззрениях тех и других было чрезвычайно невелико: те и другие были противниками коммунизма и защитниками частной собственности. Правда, в разгоревшейся между двумя партиями борьбе Жиронда вынуждена была преимущественно опираться на буржуазию, а Гора на силы народа, но их борьба была в сущности, борьбой партий, а не классов. И если бы жирон-

дисты победили, они вынуждены были бы проводить те же экономические меры, какие проводили, став у власти, монтаньяры (принудительный прогрессивный заем, твердые цены и т. д.).

Неверно и делающееся иногда указание, что жирондисты вызывали ненависть народа своим роскошным образом жизни: в этом отношении также не было заметной разницы между вождями той и другой партий. Говорят еще, что жирондисты отличались излишней гуманностью и неспособны были к решительным революционным мерам, но и это не соответствует действительности, так как в период Законодательного Собрания они проявили достаточную решимость и склонность к жестоким мерам, и лишь впоследствии политика милосердия стала их тактическим приемом.

Часто указывают также на то, что жирондистов погубил принцип федерализма (самостоятельности отдельных департаментов Франции), противопоставляемый ими принципу централизации, который отстаивался монтаньярами. Но и это справедливо лишь отчасти. Принципиально жирондисты не стояли на точке зрения федерализма и так же, как и монтаньяры, своим идеалом считали единую и нераздельную французскую республику. Страннее всего, что те самые противники жирондистов, которые обвиняли их в федерализме, одновременно обвиняли их и в роялизме, хотя, как это прекрасно понимал Марат, одно из этих обвинений стояло в вопиющем противоречии с другим; при данной исторической обстановке федералистическая республика меньше, чем централистическая, давала почвы для восстановления королевской власти. Не были жирондисты, конечно, и сознательными роялистами, хотя своей тактикой они бесспорно содействовали организации и укреплению роялистских элементов, которые пользовались борьбой Жиронды с Горой для своих контр-революционных целей. Верно в данном случае лишь то, что, начав борьбу с монтаньярами, главной опорой которых был Париж, они пытались вооружить против Парижа департаменты и, таким образом, затеяв гражданскую войну, практически проводили политику федерализма, требуя автономии для департаментов и неподчинения их Парижу и т. д. Для жирондистов федерализм был, таким образом, не принципом, а политикой отчаяния в результате их поражения.

На самом деле жирондистов погубили не все вышеперечисленные причины, а их дух партийности, выродившийся у них во фракционность и кружковщину, обрекавший их на роль пассивных критиков, неспособных к действиям революционного и национального характера. Ибо в истории рядом с борьбой классов существует борьба партий, в которой играют роль не столько экономические интересы, сколько страсти, тщеславие, стремление к господству и т. д. Отдавшись этим страстям еще во время Законодательного Собрания, Жиронда не поняла духа революции и ее велений и не смогла идти вровень с развивающимися событиями.

Когда жирондисты появились на политическом горизонте, народные массы еще не были организованы, пролетарии только еще рождались для политической жизни. Поэтому небольшая группа талантливых и ярких людей, не во всем между собой солидарных, смогла сыграть руководящую роль, которая внушила им гибельную для них веру в свое политическое призвание и значение. Став у власти и вызвав войну, они пробудили к жизни стихийные силы народа, с которыми не сумели справиться и которыми не умели руководить. Их стремление к господству натолкнулось на сопротивление парижских демократических масс, сгруппировавшихся вокруг Дантона, Робеспьера и Коммуны, и это привело к конфликту Жиронды с Горой. В этом конфликте жирондистам пришлось, конечно, формулировать свои политические и социальные взгляды, но эти последние явились не причиной, а результатом завязавшейся борьбы. Правда, в политическую борьбу вмешались элементы чисто стихийной экономической, классовой борьбы, но эти элементы не играли основной доминирующей роли в борьбе партий. И если, чем дальше, тем больше жирондисты опирались на буржуазию, то не потому, что они представляли этот класс, а потому, что в интересах их партии он являлся лучшей опорой для них. Несмотря на заслуги, оказанные революции жирондистами, несмотря на то, что во многом они были оклеветаны, несмотря на несправедливость, проявляемую часто к ним монтаньярами, последние в историческом споре с ними были правы, ибо воплощали в своем лице развивавшуюся революцию. В 1793 г. единственным средством спасти цивилизацию было спасти революцию, а

жирондисты своим духом партийности губили ее, и они сами неизбежно должны были погибнуть.

V. Социальные идеи Конвента и революционное правительство.

Политическое поражение Жиронды отнюдь не означало наступление новой эры в области политических и социальных идей. Еще в первый период деятельности Конвента, до 31 мая 1793 года эти идеи в общих чертах уже наметились, при чем в их разработке и формулировке, особенно плодотворной в промежутке от конца сентября 1792 года до конца мая 1793 года, энергично соревновались между собой обе враждующие партии, взаимно дополняя друг друга и содействуя общему делу с равным усердием.

Согласно выражению Лепеллетье де Сен Фаржо, Конвент оставил после себя три исторических памятника: Конституцию, свод гражданских законов и общественное воспитание.

В области последнего Конвенту пришлось уделить много внимания плану Кондорсе, перешедшему к нему по наследству от Законодательного Собрания и вызвавшему горячие споры. Кондорсе исходил из учения энциклопедистов, стремясь поставить воспитание народа на светлую научно-рационалистическую почву и провозглашая господство разума. Эта точка зрения вызвала возражения как со стороны религиозно-настроенных элементов, желавших сохранить религиозные основы воспитания, так и со стороны последователей Руссо, которые вслед за своим учителем считали, что цивилизация и наука содействует порчи нравов, и потому отрицательно относились к чисто рационалистическому, научному воспитанию.

Вопрос о народном образовании и воспитании с самого начала принял резко политическую окраску: требование светской школы, выдвинутое Кондорсе, и его сторонниками, было продолжением борьбы с духовенством, начатой революцией, а мотивировка в пользу ее исходила из необходимости создавать посредством целесообразной системы воспитания граждан, проникнутых духом революции и способных сознательно отстаивать завоеванную ею свободу от всех ее врагов. Но, кроме политиче-

ских моментов, в связи с вопросом о народной школе выдвинулись также вопросы социального характера, ибо естественно возникал вопрос, как поставить детей имущих и неимущих в одинаковые условия образования, чтобы как из тех, так и из других могли выработаться равно достойные дети революции. Эта социальная постановка вопроса особенно заметна в обширном плане воспитания, составленном Лепеллетье де Сен-Фаржо. Примыкая к общим основаниям плана Кондорсе, Лепеллетье проектировал создание педагогических учреждений четырех ступеней: первоначальные школы, школы повышенного типа, институты (средние учебные заведения) и лицеи (высшие учебные заведения). Последние три ступени должны были, по его мысли, служить средством для сохранения, распространения и усовершенствования человеческих знаний в духе Кондорсе и энциклопедистов, хотя бы только для тех граждан, которые имеют склонность и материальную возможность целиком отдаться наукам и искусствам. Напротив, первая ступень воспитания,—первоначальные школы,—должны дать начатки среднего обучения всем детям без исключения, как богатым, так и бедным, которые должны воспитываться в одинаковых условиях, вырабатывая в себе одинаковые привычки и новое понимание жизни. С этой целью „все дети без исключения и различия, мальчики с 5 до 12 лет и девочки с 5 до 11 лет,—должны воспитываться вместе за счет республики и, согласно святому закону равенства, получать одинаковую одежду, пищу, знания и уход“. Этим будет сглажено существующее в настоящее время имущественное неравенство, усугубляющееся благодаря неодинаковым условиям воспитания детей богатых и бедных родителей. Дети в возрасте до 5 лет должны оставаться на попечении матерей, так как этого требует природа, но должны быть выработаны особые законы, которые оказали бы нуждающимся матерям необходимую для этого материальную поддержку. По достижении 12 лет первоначальное обучение заканчивается, так как к этому возрасту дети приобретают достаточное физическое и умственное развитие, чтобы начать самостоятельно зарабатывать и избирать себе профессию.

Высказываясь в принципе за обязательность обучения, Лепеллетье в виде компромисса соглашался на отсрочку ее, считаясь с существующими в этом отношении предрассудками.

Лепеллетье высказывался за обучение в школе физическому ручному труду и против преподавания в ней закона божьего, предоставляя, в крайнем случае, воспитателям водить детей в определенные дни в церковь для ознакомления с богослужением той религии, в которой воспитаны их родители. Расходы государства по воспитанию детей за свой счет должны покрываться специальным налогом, падающим на жителей пропорционально их состоянию.

Указывая на благотельные последствия от осуществления своего плана, Лепеллетье де Сен-Фаржо особенно подчеркивал его социальное значение: „Революции,—писал он,—совершившиеся в течение трех лет, происходили в интересах других классов граждан; почти ничего еще не сделано для самого, может-быть, необходимого класса, для граждан-пролетариев, единственной собственностью которых является труд. Феодализм уничтожен, но не для них; ибо они не обладают никакой собственностью в освобожденных деревнях; налоги стали распределяться более справедливо, но благодаря их бедности им почти не приходится их платить; поэтому для них это облегчение почти не чувствительно. Установлено гражданское равенство, но у них отсутствует образование и воспитание; они несут на себе всю тяжесть звания гражданина. Воспользовались ли они почестями, на которые может претендовать гражданин?.. Теперь пришло время для революции бедняка... но революции мирной и кроткой, которая не затронет собственности и не оскорбит справедливости. Возьмите на себя заботу о детях граждан, не имеющих собственности, и для них больше не будет существовать нужды; возьмите на себя заботу об их детях, и вы облегчите им самую тяжелую сторону их жизни“.

В изложенных взглядах Лепеллетье не было по существу ничего утопического, хотя и до сих пор во Франции не осуществлено многое из его плана,—например, совместные общеклассовые для детей всех классов общества, ибо они в принципе не противоречили экономическим отношениям и не требовали преобразования строя, основанного на частной собственности.

Вопрос о равенстве условий воспитания естественно выдвигал на обсуждение проблемы более широкого характера, а именно проблему об установлении социального и экономического

равенства вообще или, по крайней мере, приближения к нему. В особенности эти социальные проблемы выдвинулись в связи с обсуждением Конвентом проекта Конституции. На ряду с официальным проектом, представленным Кондорсе от имени Конституционного комитета и устанавливавшим самые крайние формы политической демократии, не затрагивая совершенно вопроса о собственности, отдельные члены Конвента вносили свои индивидуальные проекты, и в некоторых из них этот последний вопрос находил себе довольно определенное выражение. В этом отношении представляют значительный интерес соображение депутата Гармана, высказывавшегося в том смысле, что Конституция должна определить не только политические, но и социальные права граждан. „После того, как достигнуто равенство политических прав, самым естественным, и самым жизненным является стремление к фактическому равенству... Без желания или надежды на это фактическое равенство, равенство в правах является только жестокой иллюзией, которое, вместо обещаемых им наслаждений, заставляет самую многочисленную и самую полезную часть граждан испытывать муки Тантала“. Правда, Гарман тут же оговаривается, что он является противником экономической революции и установления полного экономического равенства; он готов ограничиться законами, не допускающими „злоупотреблений собственности и промышленности и препятствующими собственникам лишать бедняков средств существования“, в частности, — установлением ограничений прав собственности и таксировкой цен на необходимые предметы. Тем не менее, взгляды Гармана характерны для этой эпохи, когда недовольство широких масс благодаря тяжелым экономическим условиям заставляло поднимать социальные вопросы и ставить на очередь дня проблему социального равенства.

Гораздо более глубокий характер, чем у Гармана, имели социальные воззрения Билльо-Варенна, выраженные им в брошюре „Элементы республиканизма“, изданной им в феврале 1793 года. Билльо-Варенн опровергает в ней прежде всего ходячее представление о необходимости существования бедняков. Отнюдь не представляя собой необходимости или закона природы, бедность и нищенство являются „непосредственным последствием накопления состояний, поскольку владельцы послед-

них оставляют без поддержки тех, кто не имеет их гения и их рук“. Для борьбы с последствиями этой социальной несправедливости Билльо-Варенн рекомендует организацию общественных работ, но решительно высказывается против „аграрного закона“ и законов против роскоши, ибо и то и другое стеснили бы развитие сельского хозяйства и торговли, а между тем „сельское хозяйство, это — главная основа благосостояния, а торговля является главным орудием в руках сельского хозяйства“. Мечтать о возвращении к чисто земледельческому обществу в настоящее время невозможно; все, что можно сделать при данном состоянии развития общества, это, — во-первых, запретить земельным собственникам владеть участком земли выше установленных законом размеров (характерное для преобладания земледельческой собственности Франции этого периода предложение) и установить ограничение в правах наследования, во вторых. Эти ограничения должны идти в двух направлениях: с одной стороны, должна быть уничтожена свобода завещания, и наследство должно делиться поровну между всеми детьми умершего, что будет препятствовать скоплению капиталов в одних руках; с другой, — должны быть установлены максимальные размеры могущей переходить по наследству собственности; имущество, превышающее их, переходит в специальный государственный фонд, предназначенный для распределения между детьми бедных, не наследующими никакой собственности. Таким образом, будет постепенно сглаживаться и уничтожаться существующее социальное неравенство. На возражение с точки зрения неприкосновенности частной собственности Билльо-Варенн отвечал следующим образом: „Если право собственности неприкосновенно, то этот принцип должен быть применен в пользу всех существ, составляющих нацию, а это значит уничтожить претензии тех, кто желает сохранить всю массу собственности исключительно в руках меньшинства в ущерб целому“.

Таким образом, Билльо-Варенн формулирует для всех людей право на жизнь, труд и собственность посредством законного участия в „национальном наследовании“. В этом отношении он может быть причислен к предтечам социализма, хотя проповедуемый им коллективизм носит индивидуалистический характер, поскольку в его представлениях способ производства сохраняет

индивидуальный характер и общество он рассматривает, как совокупность мелких самостоятельных земельных владений и ремесленных мастерских.

Влияние идей Билльо-Варенна, как и других деятелей, проповедывавших частично социалистические принципы, но не доходивших до идей коммунизма, заметно чувствовалось на практической деятельности этого периода революции. Так, Конвент многое заимствовал из плана воспитания Лепеллетье, проникнутого социалистическим духом; взгляды Гармана воплотились в законе о максимуме, и, наконец идеи Билльо-Варенна привнесли социальный оттенок в деятельность Конвента, клуба якобинцев и Комитета общественного спасения. Эти социалистические идеи, чем дальше, тем глубже проникали в народное сознание, принимая порой у некоторых его выразителей довольно причудливый и фантастический характер.

Такой именно характер носили взгляды Анахарсиса Клоотца, развившего их в заседании Конвента от 26-го апреля в манифесте о господстве единого и неделимого рода человеческого и об единой политической организации всего земного шара. Гордо, называя себя оратором рода человеческого, Клоотц проповедывал объединение всех наций в единый государственный организм, в единую всемирную республику. В основе последней должны лежать три главные принципа: 1) права человека, одинаковые во всей вселенной; 2) единство физической природы земного шара и 3) последовательное отрицание всякого божества,—атеизм, который так же должен объединить все народы, как в настоящее время их разединяют различные религии. Конвент встретил манифест Клоотца насмешками и негодованием. Нелепой и фантастичной казалась его проповедь всеобщего мира в момент, когда Франция вела ожесточенную войну почти с целой Европой. Утопическими казались и его экономические воззрения, хотя в некоторых отношениях он был гораздо более дальновидным и реалистичным, чем многие его современники—экономисты. Он провидел наступление момента, когда нации, раздираемые экономической конкуренцией, вызывающей между ними политическое соперничество и войны, сольются в единое целое, в один хозяйственный организм. Но ставя проблему, выдвигая возвышенный идеал, он не имел определенного убедительного

ответа на вопрос, каким путем человечество осуществит этот идеал, и возлагал все свои надежды на смягчение нравов, на проникновение людей идеей всемирного братства, не понимая, что переходной ступенью от феодально-монархического строя к абсолютной свободе демократического человечества должны служить национальные демократические государства, живущие отчасти в соперничестве между собой, отчасти в братском единении. При всей широте своих экономических воззрений Клоотц отнюдь не был сторонником ни „аграрного закона“, ни коммунизма. Деление собственности, по его мнению, должно препятствовать экономическому прогрессу, а коммунизм противоречит естественному стремлению человека работать ради собственной выгоды. Благосостояние народных масс будет само собой достигнуто при осуществлении его идеала единого всемирного государства, так как благодаря этому будут уничтожены расходы по государственному долгу, содержанию армии и т. д., исчезнет почва для экономической спекуляции и т. д.

Идеи Клоотца о всемирном братстве и „всемирном санкюлотизме“ не встретили сочувствия, как, впрочем, в этот период революции, несмотря на большую работу мысли, не пользовались широким признанием идеи коммунизма, хотя интерес к социальным проблемам и был возбужден движениями народных масс. Показательно для настроения умов в это время то, что будущий провозвестник коммунизма Бабеф считал необходимым в первые годы революции воздерживаться от пропаганды своих коммунистических идей, хотя они к этому времени сложились уже у него в голове. И он делал это не только из опасения возможных преследований, но и потому, что, обладая политической дальновидностью, понимал, что его программа для данного момента является утопической и практически неосуществимой.

Бабеф теоретически понимал коммунизм гораздо шире большинства своих современников (напр., Буасселя), не ограничивая, подобно им, его применения только к области сельского хозяйства, но распространяя его и на сферу обрабатывающей промышленности. Но в практических целях и он предпочитал говорить пока только об „аграрном законе“, то-есть коммунизме в области сельско-хозяйственного производства. Объясняется это тем, что Франция конца XVIII столетия была, по преимуществу,

земледельческой страной, и земельная проблема выдвигалась на первый план отменой феодальных прав и всем ходом революции. Как практический политик, Бабеф полагал, что дальнейшее развитие революционных событий и демократии естественным путем приведет к коммунизму и что поэтому пока нецелесообразно отталкивать от себя различные слои собственников, непосредственно не затрагиваемых уничтожением частной собственности на землю. Бабеф находил даже преждевременным выдвигать практически проблему аграрного закона раньше, чем почва для того будет подготовлена распространением в широких массах революционных и демократических идей. Пока же достаточно, по его мнению, укрепить завоевания революции и поддерживать крайнюю демократическую партию (Робеспьера), ибо это само собой логически поставит вопрос о коммунизме. Духом этой политической предусмотрительности и осторожности проникнуто письмо Бабефа к Купе (10 сент. 1791 года). Высказываясь в нем в пользу аграрного закона и установления экономического равенства, Бабеф признает, что „об этом еще нельзя говорить другим“, ибо „49 пятидесятих рода человеческого“ еще не думают об этом, хотя „усовершенствование законодательства имеет тенденцию к установлению этого примитивного равенства и хотя мы быстрыми шагами идем к этой великой революции“. И именно потому, что широко распространены предрассудки против аграрного закона, необходимо, чтобы „первоначальные шаги были замаскированы и чтобы не видно было, к какой цели они направляются“. Самый аграрный закон Бабеф понимает, не как простой дележ земли в частную собственность, а как превращение ее в неотчуждаемое владение всего общества в целом и отдачу ее во временное пользование отдельным лицам.

Развивая далее подробную программу демократических требований, Бабеф из каждого из них в качестве логического следствия выводит аграрный закон. Люди, сами того не замечая, путем развития демократии придут, таким образом, к отрицанию собственности,—к коммунизму.

Но если открытая пропаганда коммунизма и аграрного закона казались Бабефу опасными в 1791 году, то она стала еще более опасной после 10 августа 1793 года, сполошившего буржуазию и вызвавшего ее тревогу за свою собственность. Мы

уже отмечали выше принятие Конвентом предложения Дантона о том, что безопасность личности и собственности ставится под охрану нации, как и другие заявления, направленные к успокоению буржуазии в том, что Республика не намерена посягать на их собственность. А 18 марта 1793 года Конвент принял, по предложению Барера, декрет, специально направленный против проповедников „аграрного закона“ и гласивший: „Национальный Конвент декретирует смертную казнь для всякого, кто предложит аграрный закон или всякий другой закон, посягающий на земельную, торговую и промышленную собственность“. При этом в мотивировке декрета Барером подчеркивалось, что „аграрный закон“ проповедуется в своих целях контр-революционерами. Это еще больше, чем угроза смертной казнью, заставляло коммунистов быть весьма осторожными при пропаганде своих идей. Даже монтаньяры, на которых возлагал все свои надежды Бабеф, голосовали за этот репрессивный закон.

Но, отвергая аграрный закон, Конвент понимал необходимость идти навстречу социальным потребностям народных масс, чтобы привязать их к революции, и потому одновременно с этим декретом, по предложению того же Барера, он принял ряд мер социального обеспечения, а именно: установление прогрессивного налога на роскошь и богатства как земельные, так и движимые, и декрет о продаже национальных имуществ мелкими участками в интересах неимущих и в целях воспрепятствования спекуляции.

Показательным для роста социальных симпатий является успех, который получил в 1793 году написанный еще в 1789 году и теперь переизданный „Катехизис рода человеческого“ Буасселя, в котором резкой критике подвергались семья, собственность и религия. Подобно тому, как Ланжа можно считать предшественником Фурье, так Буассель в некоторых отношениях может быть признан предшественником Сен-Симона и Анфантена. Современный общественный строй, который Буассель клеймит, как „основанный на найме, убивающий людей и антисоциальный“, должен быть изменен для того, чтобы прекратилось подавление слабых сильными и чтобы все люди могли пользоваться всеми дарами богатой, могущественной природы, по отношению к которой Буассель был проникнут настроением

мистического пантеизма. Для этого необходимо, чтобы „упражнения, функции и работы распределялись и разделялись согласно силам, гению, характеру, вкусу, образованию и предрасположениям, которые будут развиваться и проявлять себя в каждом индивидууме так, чтобы никакой труд и функция не могли давать основания ни для унижения, ни для тщеславия“.

Существующее мнимое право собственности освящает грабеж и обман. Брак освящает господство мужчины над женщиной и взаимный обман обоих полов. Религия ставит воображаемые небесные силы на службу земным силам. В отличие от Руссо, считавшего причиной всех социальных бедствий потерю человеком своего естественного состояния и уклонение его от природы, Буассель верит в прогрессивную эволюцию человечества. И хотя и он считает, что человек для достижения счастья должен жить в соответствии с природой, но это означает не возвращение к природе, то-есть к дикому состоянию, а возвышение до природы посредством науки.

Самый будущий строй рисуется Буасселю в виде своего рода „иерархического коммунизма“: „В храмах и во всех мастерских будут устроены магазины и склады для самых различных продуктов земледелия, ремесл и промышленности, чтобы удовлетворить всем разнообразным потребностям, удобствам, спокойствию и удовольствию. Каждый класс и каждый род занятий будет иметь особую одежду, будут установлены праздники и игры, которые будут посвящены владыке Вселенной“. Большое значение для создания нового общественного строя Буассель придавал эмансипации женщин, что также сближает его с Сен-Симоном.

Буассель одно время пользовался довольно значительным влиянием в клубе якобинцев, где он противопоставлял Робеспьеровской Декларации прав человека свою „Декларацию прав санкюлотов“. В этой декларации Буассель следующим образом формулировал права санкюлотов: „Их естественные права состоят в использовании благ земли,—нашей общей матери, в сопротивлении угнетению, в непреклонной решимости признавать свою зависимость только от природы и Высшего Существа. Санкюлоты признают, что общество установлено только для защиты слабейших против сильнейших“. Но впоследствии Робеспьеру уда-

лось добиться его исключения из клуба, ибо его смущали коммунистические и пантеистические, казавшиеся ему атеистическими, воззрения Буасселя. Коммунистические идеи Бабефа и Буасселя не были характерными для большинства даже крайних революционеров того времени. Более характерными для них были взгляды Робеспьера, который, отнюдь не склоняясь к аграрному закону, как то предполагал относительно его Бабеф, считал однако необходимым внести в Декларацию прав, предшествующую вырабатываемой Конвентом Конституции, социальные мотивы, дающие некоторые гарантии трудящимся и страдающим массам. В своей речи в Конвенте по поводу Декларации прав Робеспьер утверждал, что „аграрный закон, о котором так много говорят, есть призрак, созданный негодяями, чтобы пугать дураков“. Конечно, источником многих бедствий является „крайне неравномерное распределение имуществ, но мы тем не менее убеждены, что равенство имуществ—химера“. Стремясь, таким образом, успокоить собственников, Робеспьер вместе с тем убеждал Конвент дать удовлетворение и бедным, чтобы не казалось, что Декларация создана только „для богатых, скупщиков, спекулянтов и тиранов“. С этой целью в декларацию должны быть введены следующие пункты: 1) Собственность есть право каждого гражданина пользоваться и располагать той частью благ, которая ему гарантирована законом; 2) право собственности, как и все другие права, ограничено обязанностью уважать права других; 3) оно не может посягать ни на безопасность, ни на свободу, ни на существование и собственность нам подобных; 4) всякая собственность, нарушающая этот принцип, незаконна и безнравственна“.

С точки зрения этих положений Робеспьер подвергает критике и требует уничтожения всякой рабовладельческой, феодальной и монархической собственности, не давая прямого ответа на вопрос, как быть с новой частной собственностью, освященной революцией, и каковы должны быть ее границы. Но не давая точного ответа, он давал возможность истолкования этих положений в смысле тех или иных ограничений *всякой* собственности в интересах общественного блага, а это именно и нужно было ему, как политику, заинтересованному в привлечении на свою сторону в борьбе с жирондистами неимеющих собственно-

сти пролетариев. Поэтому в проекте Декларации прав, выработанном Робеспьером и принятом единогласно клубом якобинцев 21-го апреля, кроме вышеуказанных, имеются еще такие пункты: „Целью всякой политической ассоциации является поддержание естественных и неотъемлемых прав человека и развитие всех его способностей“; „равенство прав установлено природой; общество, не посягая на них, должно давать гарантии против злоупотребления силой, которое делает их иллюзорными“; „общество обязано заботиться о средствах существования для всех своих членов, или доставляя им работу или обеспечивая средства существования тем, кто не в состоянии работать“; „помощь, оказываемая тем, кто лишен самого необходимого, составляет долг того, кто владеет излишками; закон должен определить, каким способом осуществляется этот долг“.

В стремлении не разойтись с настроением, преобладавшим в Парижской Коммуне и среди революционных элементов Парижа, Робеспьер забыл о своей обычной осторожности в вопросах внешней политики и вставил в свой проект Декларации следующий пункт, касающийся международных отношений: „Люди всех стран—братья; различные народы должны взаимно помогать друг другу в соответствии с своей силой, как граждане одного и того же государства. Тот, кто угнетает одну из наций, объявляет себя врагом всех их. Все, ведущие войну с народом, чтобы остановить прогресс свободы и уничтожить права человека, должны быть преследуемы всеми не как обыкновенные враги, а как злодеи и восставшие грабители. Короли, аристократы, тираны, кто бы они ни были, являются возмущившимися рабами против владыки земли,—рода человеческого,—и против законодателя вселенной,—природы“.

В то время, как Робеспьер, не будучи коммунистом, выступал нередко против богатства и против развращенности богатых, которым он противопоставлял добродетель бедных, Верньо весной 1793 года нарисовал перед Конвентом величественную картину современной демократии, в которой отвергал необходимость для нее полного равенства. Осуществление последнего при настоящих условиях привело бы к разрушению промышленности и торговли, к обеднению жизни. Конечно, законодательство должно выработать разумные меры против тяжелых пос-

ледствий слишком неравномерного распределения имущества, но в общем и целом оно должно покровительствовать собственности, ибо „поддержание собственности есть главная забота социального союза; если она не уважается, то исчезает самая свобода“. Вместе с тем Верньо высказывался против агрессивного завоевательного характера демократического государства, к чему одно время, как мы только что видели, склонялся Робеспьер.

Итак еще до падения Жиронды в Конвенте выработались уже основные системы его воззрений, и в ряде декретов намечалось направление его политики (напр., декрет 24-го августа, регулировавший продажу национальных имуществ, ставивший ее под надлежащий контроль во избежание многочисленных злоупотреблений и спекуляции, происходивших при ней до издания декрета; установление твердых цен на хлеб и некоторые другие продукты; признание в принципе принудительного миллиардного займа у богатых и т. д.; распределение между населением мелкими участками общинных земель, при сохранении права собственности на них в течение 10 лет за общиной).

Теперь, после поражения Жиронды, освободившись от партии, тормозившей прогресс революционного движения, монтаньяры, став у власти, могли беспрепятственно развернуть положительную деятельность демократии в духе выработанных ранее начал.

Первым шагом в этом направлении было принятие новой Конституции. Конвент отверг проект Кондорсе, несмотря на его демократизм, потому что он, будучи составлен в духе энциклопедистов, основывался целиком на человеческом разуме. Напротив, Робеспьер и руководимые им монтаньяры желали внести в Конституцию элементы „Верховного Существа“, противопоставляя его тому католическому богу, во имя которого против французской республики мобилизовалась Вандея.

В сущности, между Конституцией 1793 года, принятой Конвентом, и проектом жирондистской Конституции (Кондорсе), отвергнутой им, не было значительной разницы. С точки зрения теоретической и формальной, последняя была в некоторых отношениях даже более демократичной, но зато первая более соответствовала моменту, когда требовалось единство законодательной и исполнительной власти и создание сильного революционного правительства. В этом смысле принятая Конвентом

Конституция устанавливала более простую и подвижную форму государственного устройства и управления. Так, жирондистская конституция приближалась в некоторых своих частях к установлению принципа прямого народного законодательства; передача законов на обсуждение и голосование первичных избирательных (референдум) собраний; избрание всех должностных лиц непосредственно избирателями и влияние департаментов на состав исполнительной власти. Все это делало чрезвычайно громоздким весь аппарат государственной власти. Напротив, монтаньярская конституция, отвергая референдум установлением годичного срока для всех выборов, в достаточной степени обеспечивала влияние избирателей на законодательство; установление всеобщих и прямых выборов для народных представителей, двухстепенных—для должностных лиц и трехстепенных—для министров, с окончательным утверждением последних самим Конвентом, давало возможность организовать твердую революционную демократическую власть, стоящую под контролем избирателей и вместе с тем находящуюся под сильным влиянием революционного центра,—столицы.

Монтаньяры не включили в текст Конституции тех определений собственности и социальных формул, которые включены были Робеспьером в проект Декларации прав. Причиной этого было желание устранить все препятствия и все, что могло вызывать чье бы то ни было недовольство, которое было бы на руку только контр-революции. Все, относящееся сюда, сводилось к следующему: целью общества Декларация объявляла „общее счастье“; из проекта Робеспьера был заимствован пункт о праве на жизнь и на труд, а самое право собственности сформулировано было в терминах жирондистской конституции: „Право собственности есть принадлежащее каждому гражданину право пользоваться и располагать по своему усмотрению своим имуществом, своими доходами, продуктами своего труда и промышленности“. В области международной политики текст принятой Конституции тоже резко отличался от первоначальных предложений Робеспьера и гласил: „Французский народ—друг и естественный союзник свободных народов. Он не вмешивается в управление других наций; он не допустит, чтобы другие нации вмешивались в его управление. Он дает убежище иностранцам.

изгнанным из своего отечества за дело свободы, он отказывает в нем тиранам. Он не заключает мира с неприятелем, занимающим его территорию“.

Робеспьер не только не сделал попытки отстоять свой первоначальный проект Декларации прав, но открыто заявил, что зрелые размышления заставили его во многом пересмотреть свои прежние взгляды.

При всех своих недостатках и при своей умеренности в вопросах собственности, налоговой системы и внешней политики, конституция 1793 года действительно воплощала чаяния демократии, устанавливала суверенитет нации и в руках пролетариата могла бы стать орудием его постепенного социального освобождения. Неудивительно поэтому, что коммунисты, как Бабёф и его друзья, требовали, как предварительного условия для социальных реформ, восстановления конституции 1793 года.

Но эта конституция не была осуществлена и не применялась ни одного дня, так как события внутренней и внешней политики заставили с первых же дней после ее принятия откладывать ее проведение в жизнь впредь до более нормальных условий существования Республики.

Задачи революции в этот исторический момент были удачно сформулированы Робеспьером в написанных им в период восстаний 31-го мая—2-го июня заметках, опубликованных лишь впоследствии. „Нужна единая воля,—писал он в них,—надо, чтобы она была или республиканской, или роялистской. Для того, чтобы она была республиканской, нужны республиканские министры, республиканские акты, республиканские депутаты и республиканское правительство. Война с иностранцами представляет собой смертельную болезнь только постольку, поскольку политический организм болен от революции и от разделения волей. Внутренние опасности исходят от буржуазии; чтобы победить буржуазию, надо объединить народ. Все было уже подготовлено, чтобы подчинить народ игу буржуазии и отправить на эшафот защитников Республики. Она уже торжествовала в Марселе, Бордо и Лионе; она восторжествовала бы и в Париже, если бы не последнее восстание. Надо, чтобы это восстание продолжалось, пока не будут приняты меры для спасения Республики. Надо, чтобы народ объединился с Конвентом, а Конвент

соединился с народом. Надо, чтобы восстание распространялось все больше и больше по тому же плану, чтобы санкюлоты получали плату и оставались в городах. Надо им доставить оружие и просветить их. Надо всеми возможными средствами поддержать народный энтузиазм“.

Позиция Робеспьера диктовалась в этот момент трудностью положения. Насилие, совершенное над жирондистами и вызвавшее письменный протест 73 депутатов, примыкавших к ним, несомненно подрывало престиж Конвента и грозило последнему превращением в безвольную игрушку в руках Коммуны. Этого опасались очень многие депутаты, и очень показательной является в этом отношении речь Барера от 6-го июня от имени Комитета общественного спасения, в которой он, смягчая опасности и размеры контр-революционного движения, обращал главное внимание на происки „анархистов“. Робеспьер тотчас же отвечал Бареру в духе только что цитированных заметок, доказывая необходимость и правомерность только что совершенного восстания. Робеспьер более, чем кто-либо другой, понимал, что, в виду серьезных успехов войск коалиции, продолжающегося вандейского восстания и попыток бежавших из Парижа жирондистов поднять восстание в южных и юго-западных департаментах, необходима концентрация сил революции, укрепление революционной власти в лице Конвента и его исполнительных комитетов, а для этого необходимо скорейшее принятие Конституции.

Вообще в этот период Робеспьер обнаружил много здравого смысла и настойчивости. Он понимал сложность стоящей перед ним задачи и свою ответственность за управление страной. Не будучи никогда демагогом и выступая, когда он считал это необходимым, против нецелесообразных движений масс, он стремился ввести в интересах революции эти движения в организованное русло. Поэтому он с твердой решительностью выступил снова против крайних, которые, как, напр., Шабо в Конвенте, стали нападать на Конституцию, как недостаточно демократическую (отсутствие в ней пункта о прогрессивном налоге). Впрочем, более опасным противником, чем Шабо был Жак Ру. Последний в секции Гравиллье и в клубе кордельеров резко критиковал Конституцию, как эгоистическую и антинародную.

так как в ней отсутствуют пункты против спекулянтов и скупщиков. Ему удалось убедить своих слушателей подать в Конвент петицию, оглашенную 25-го июня.

Критикуя Конституцию с указанной точки зрения, Ру говорил: „Свобода—пустой призрак, когда один класс людей может безнаказанно морить с голоду другой класс. Равенство—пустой призрак, когда богатый при помощи монополии пользуется правом располагать жизнью и смертью себе подобных. Республика—пустой призрак, когда контр-революция изо дня в день действует при помощи повышения цен на съестные припасы, которых три четверти граждан не могут без слез получить. А между тем, чтобы привязать санкюлотов к революции и Конституции, надо остановить грабеж торговли“. „Только богатые,—продолжал он,—в течение 4 лет извлекали выгоды из революции. Нас угнетает торговая аристократия, более страшная, чем аристократия знати, и мы не видим конца этому угнетению, ибо цена на товары увеличивается ужасающим образом. Настало время закончить борьбу не на жизнь, а на смерть, которую эгоизм объявил самому трудящемуся классу. Выскажитесь против спекулянтов и скупщиков, и санкюлоты при помощи своих пик будут исполнять ваши декреты“.

Указывая на мягкость Конвента по отношению к виновникам народных бедствий, обрисованных в петиции яркими красками, и возражая против широко распространенных шаблонных объяснений их причин, Ру заканчивал следующими словами: „Хотите ли вы завещать нам нужду, голод и отчаяние? Надо ли, чтобы роялисты и умеренные, под предлогом свободы торговли, продолжали поглощать наши мануфактуры и собственность; чтобы они завладевали хлебом, лесами и виноградниками, даже шкурой животных? Делегаты народа, не кончайте вашей карьеры подлостью. Что касается до нас, то мы дали клятву защищать свободу и равенство, единство и неделимость Республики и угнетенных санкюлотов департаментов“.

Речь Ру все время прерывалась свистками и возгласами негодования. Несколько ораторов выступили с разоблачениями его, как бывшего священника, иностранного агента и т. д., а Конвент постановил изгнать его из заседания. Но те же ораторы, которые клеймили Ру, вынуждены были тут же признать, что

действительно необходимы серьезные экономические меры для смягчения нужды. В этом отношении выступления Жака Ру не остались без последствий, хотя в области практических мер он был достаточно беспомощен и в критике Конвента во многом несправедлив. В самом деле, он не предложил ни одной меры принципиального характера, напр., национализации крупных мануфактур, отражая в своей критике и жалобах не настроение рабочих, а недовольство, зависть и боязнь мелких буржуа, страдающих от крупных торговцев и спекулянтов, и играя своими нападениями, дискредитирующими Конвент, на руку контр-революционерам.

Потерпев неудачу в Конвенте, Жак Ру сделал попытку опереться на кордельеров. Здесь ему и Леклерку удалось добиться присоединения к петиции и постановления о широком ее распространении. Вслед затем под влиянием „бешеных“ 27-го июня состоялась демонстрация прачек—„мыльный бунт“. Все это заставило Робеспьера выступить у якобинцев с гневной речью против „бешеных“ и Жака Ру. „Новые заговоры злоумышляют против свободы,—говорил он.—На якобинцев, Гору, кордельеров,—этих старых атлетов революции, затративших все силы и не прекращавших ни на минуту бороться за нее, сыпятся клеветы. Человек, прикрывающийся плащом патриотизма, которого народ считал достойным быть его выразителем, нападает на величие Национального Конвента. Этот человек, хвастающийся тем, что любит народ больше, чем мы, возбуждает граждан всякого звания против Конституции под предлогом, что она не заключает в себе законов против скупщиков; из этого надо, очевидно, сделать вывод, что она не соответствует потребностям народа, для которого она создана“. Люди, действительно любящие народ, не могут говорить таким языком; стало-быть, те, которые выступают вместе с Ру, скрытые враги, заинтересованные в поддержании беспорядков. „Я приглашаю к величайшей осмотрительности. Меры спасения народа не всегда должны быть одинаковы. Подобно тому, как на войне иногда выступают с оружием в руках против неприятеля, а иногда ограничиваются тем, что утомляют его повторными и губительными маршами и контр-маршами, избегая сражения, так и мы должны употреблять все виды хитрости против неприятеля, который имел успех

только благодаря подобным приемам. В течение четырех лет мы оказались бы победителями, если бы не пренебрегали ловкостью и хитростью“.

Якобинцы высказались против Ру и дружески предложили своим членам, участникам клуба кордельеров, добиться пересмотра постановления последнего. Колло д'Эрбуа и Геберу без труда это удалось, так как клуб кордельеров не имел строгой организации подобно якобинцам, и в нем в разное время преобладали различные настроения и течения. Жак Ру протестовал против начатых против него преследований якобинцев и кордельеров и в своей брошюре „Причины несчастий французской Республики“, говоря на свою излюбленную тему о спекулянтах и скупщиках и требуя для них смерти, в раздражении договорился до того, что старый режим не потерпел бы тех безобразий, которые терпит Республика.

Эти раздраженные и неосмотрительные нападки Ру на революцию и противопоставление последней старого режима могли только дискредитировать Гору, занятую в это время организацией демократических сил.

Эти силы, независимо от различий в своих мнениях, дружно объединились поэтому против Ру: не только Робеспьер, Марат, кордельеры и якобинцы, но и Коммуна встала теперь, как один человек, против него.

Генеральный совет Коммуны резко осудил „мыльный бунт“, подчеркивая участие в нем Ру и объявляя пособниками вандейцев тех, кто угрожает собственности, а Шометт прямо заявил Ру, явившемуся в Коммуну со своей петицией: „Ваша петиция есть призывной набат к грабежу и к революции собственности“. Кроме того, Генеральный совет постановил уволить Ру от участия в редактировании своих афиш и объявлений. Наконец, 1-го июля „Генеральный совет Коммуны, обсудив поведение аббата Жака Ру, одного из своих членов, и принимая во внимание, что этот гражданин оклеветал Конвент в вероломном адресе, представленном в последние дни; принимая, кроме того, во внимание, что его антигражданские мнения заставили изгнать его из народных обществ и избирательного корпуса, единогласно постановляет, что он не одобряет его поведения“.

Особенно резко выступал против Ру Гебер, которому агитация „бешеных“ казалась опасной, поскольку она отталкивала от революции мелких торговцев, которые составляли его главную аудиторию. Возражая Ру, Гебер писал, что скупщиков, о которых он так много говорит, нет вовсе в Париже, где преобладают только розничные торговцы. Пусть Ру направит свою агитацию в крупные портовые и торговые города, где имеются спекулянты и скупщики.

Но хотя Робеспьер и Гебер сходились в нападках против Ру, Робеспьера весьма смущала антирелигиозная агитация самого Гебера. Вместе с тем Гебер, искавший популярности в народных массах, пытался приобрести ее посредством проповеди самого крайнего террора и разжигания чувства мести против контр-революционеров. Так, он писал вульгарные кровожадные статьи по адресу заключенных: Марии-Антуанетты (королевы) и госпожи де-Ролан. Дискредитируя Дантона и попадая тем самым отчасти и в Робеспьера, ослабляя Конвент и Комитет общества спасения, Гебер рассчитывал усилить, таким образом, авторитет Коммуны, в Генеральном совете которой он играл одну из главных ролей. Взору Гебера предносилась уже Коммуна, всецело управляющая не только военным министерством, в составе которого было много сторонников его и Шометта, но и другими министерствами, и освобожденная от контроля Комитета общественного спасения.

Робеспьер хорошо понимал опасность, грозившую со стороны Гебера. Его главной заботой было сохранение авторитета Конвента и Комитета общественного спасения и объединение вокруг них всех революционных сил. Диктатуре Парижа, которой добивался Гебер, он хотел противопоставить диктатуру революционной Франции, только *опирающейся* на Париж. В этот момент Робеспьер воплощал в своем лице все величие революции: препятствуя гебертизму узурпировать народную энергию, он не хотел разрываться с последней. Он отсоветовал революционным элементам Парижа целиком идти на фронт, веря в революционный здравый смысл этих элементов и считая их надежнейшим оплотом против контр-революционных происков. И он преждевременно не выступал, как сектант, против Коммуны, стремясь использовать ее силы и влияние, особенно в военном ведомстве, в интересах революции.

Он хотел, чтобы вся Франция управлялась, законодательствовала и боролась посредством Конвента. Париж в его представлении был, конечно, важнейшим очагом революции, но не всей революцией. Демократия являлась для Робеспьера одновременно и целью и средством. Целью,—поскольку он стремился к Конституции, в которой демократия находила свое выражение; средством,—поскольку он хотел справиться с врагом при помощи объединенной, а не разбитой на части национальной революционной силы. Более чем кто-нибудь, Робеспьер мог вести борьбу за демократию против сектанства, гебертизма и Коммуны. Марат помогал Робеспьеру в его борьбе с ними, но он уже истощил все свои силы, и остаток их посвящал работе по очищению военного ведомства от подозрительных, неблагонадежных и слабых элементов, порой обвиняя Комитет общественного спасения и монтаньяров в недостаточной решительности по отношению к этим элементам. Что касается Дантона, то он не мог теперь играть прежней роли, так как в качестве члена Комитета общественного спасения первого созыва ему приходилось нести ответственность за совершенные последним ошибки, за имевшие место случаи измены, и он вынужден был теперь чаще защищаться, чем нападать и вести систематическую активную политику. Только временами он снова поднимался на прежнюю высоту. Так, при известии о новом подеме вандейского восстания Дантон произнес в Конвенте громовую речь против жирондистов, сеющих семена гражданской войны в стране, и на следующий день клуб якобинцев принял его резолюцию. Но постоянного влияния Дантон теперь не имел и перестал быть активным творцом демократической политики.

Напротив, Робеспьер, не несший никакой ответственности за деятельность Комитета общественного спасения первого состава, в которой он не входил, сохранял незапятнанной свою репутацию, которую он порой умело использовал, когда это было необходимо, для защиты этого самого Комитета, ошибки которого он хорошо сознавал. 14-го июня он говорил в клубе якобинцев: „Были моменты, когда я строго судил об этом Комитете (общественного спасения); но после серьезного расследования я убедился, что этот Комитет искренно желал блага Республики; но невозможно, чтобы люди, занятые столь важными и разно-

образными делами, могли избежать всяких случайных шагов. Надо поэтому судить их по совокупности их трудов, а не по их отдельным действиям. Не подумайте, что я проповедую модерантизм (политику умеренности); напротив, я проповедую самую строгую бдительность*.

Вскоре после этого состав Комитета общественного спасения был обновлен, и он принял более однородный и энергичный характер. Но Робеспьеру своей тактичной политикой, защитой Дантона и других его членов удалось добиться того, что это изменение состава Комитета не привело к нарушению революционной преемственности.

Умеренность политики Робеспьера этого периода проявилась в тоне доклада по делу жирондистов, сделанного Сен-Жюстом,—учеником и почитателем Робеспьера. Этот доклад отличался большой сдержанностью и беспристрастием, несмотря на критику политики жирондистов, по существу содержащуюся в нем.

Политика Робеспьера снова увеличила авторитет Конвента, одно время сильно поколебленный, придала ему новые силы и дала возможность вступить на путь творческой законодательной работы. В ближайшие месяцы Конвент издал ряд чрезвычайно важных декретов.

Уже 3-го июня, то-есть на другой день после низвержения Жиронды, Конвент определил способ продажи имущества эмигрантов, а именно продажу их мелкими участками. Это был шаг, направленный в сторону сельской демократии.

10-го июня был принят закон о разделе общинных земель, утверждавший за общинами право собственности на земли, оспаривавшиеся до того времени помещиками; самые земли эти переходили теперь в пользование крестьян.

Наконец, декрет 17-го июля заканчивал разрушения феодального строя. Согласно ему отменялись без выкупа все повинности и платежи, так или иначе связанные с феодальным происхождением. Земельная рента сохранялась лишь постольку, поскольку она носила чисто земельный характер, ни в какой степени не связанный с феодальными отношениями. Чтобы придать большую торжественность этому акту, в день национального праздника, 10-го августа, было устроено публичное сжигание документов, устанавливавших феодальные повинности.

Каждое крупное народное движение в Париже имело, таким образом, своим последствием какой-нибудь важный акт в пользу крестьянства. Так за 14-м июля,—взятием Бастилии,—последовала ночь 4-го августа,—провозглашение уничтожения феодальных привилегий; за 10-м августа (взятием Тюльери)—декреты 25-го августа, фактически отменяющие феодальные повинности; после 31-го мая—декреты 3 и 10-го июня и 17-го июля. Это привязывало крестьянскую массу к революции и Парижу и лишало всякой почвы попытки жирондистов поднять департаменты против Парижа. Никогда еще революция не казалась столь сильной и единой, никогда еще усилия ее врагов не разбивались так об ее устойчивость. Убийство сторонницей жирондистов Шарлоттой Кордэ Марата, которого она считала главным виновником преследований жирондистской партии, при таких условиях способно было только возвеличить в глазах народа образ Марата и нанести моральный удар жирондизму.

Конвент и народ устроили Марату торжественные похороны. В его лице рабочие и весь бедный люд теряли друга и надежного дальновидного советника, который не льстя им, умел их предостерегать от грозящих опасностей и будить в них революционную энергию. После его смерти как гебертисты, так и Жак Ру, пытались использовать имя и память Марата в своих целях, заявляя, что они продолжают его дело. На самом же деле до своей смерти Марат шел своим путем, независимым как от первых, так и от второго.

Несмотря на неудачи жирондистов, гражданская война не прекращалась. Вандейцы одержали ряд успехов, овладев городом Анжу и осадив Нант. Правда, Нант был отбит, при чем бандиты потеряли при осаде этого города своего любимого популярного вождя Котлино, но зато они заняли Бокаж и осадили Шатильон, производя беспощадные избиения революционеров. Кроме того, в Лионе и Марселе произошли контр-революционные восстания против Конвента. В Лионе восторжествовавшая реакция казнила Шалье. В то же время прусские и австрийские войска снова начали наступление и в короткое время заняли Майнц, Кондэ и Валансьен.

Эти неудачи, однако, не обескураживали революцию, которая мужественно отбивалась от всех своих многочисленных

врагов. И национальный праздник федерации 10-го августа (в память свержения монархии) прошел чрезвычайно торжественно и с большим энтузиазмом принимавших в нем участие народных масс.

Но революция не только праздновала. Эти же дни ознаменовались чрезвычайно важными законодательными актами. Конвент утвердил проект нового гражданского уложения. Превыше актами он уже уничтожил право завещания или дарения при жизни своего имущества и установил равное распределение имущества умершего между всеми его детьми. По принятому теперь проекту гражданского уложения, прочитанному Камбасересом 9-го августа, завещатель мог располагать только $\frac{1}{10}$ своего имущества, если он имеет детей, и $\frac{1}{6}$ если он их не имеет; все остальное имущество должно после его смерти распределяться поровну между его детьми как законными, так и не законными. Кроме того, была установлена максимальная сумма, могущая быть переданной по завещанию. Весь излишек против нее разделялся поровну между всеми наследниками. Этому декрету была придана обратная сила, то-есть он был распространен на уже совершенные раньше, до 14 июля 1789 г., акты завещания и дарения.

В целях защиты Республики Конвент постановил произвести поголовный набор. Эта идея была развита первоначально в петиции первичных собраний и воспринята Дантоном. 16-го августа Конвент принял ее по докладу Барера, обосновавшего проект необходимостью новой военной тактики наступательных действий большими массами. Чтобы заставить генералов нести ответственность за военные действия и неудачи в них и чтобы показать устрашающий пример, 27-го августа был казнен генерал Кюстин за поражения на фронте, как несколько времени спустя был казнен за то же самое генерал Гушар, хотя и тот и другой не были изменниками, подобно Дюмурье.

Но никакие успехи революции и объединение ее сил не могли помешать новому усилению продовольственного кризиса, ставшего особенно заметным с начала сентября 1793 года. Расширение фронта и увеличение потребностей армий в продуктах питания, при становящейся все более затруднительной доставке их из-за границы, удорожали эти продукты все в большей сте-

пени; все более настоятельным становился ответ на вопрос, как бороться с этим злом. Из теоретиков, пытавшихся осветить этот больной вопрос, на первое место следует поставить священника Доливье и уже знакомого нам Ланжа.

В конце июля 1793 года Доливье выпустил в свет свой „Опыт естественной справедливости, могущий служить руководящим принципом для социального строя, который должен обеспечить человеку все права и все средства для счастья“.

Доливье различает в своем „Опыте“ два вида собственности (земельной): естественную и гражданскую. Первая, ограничивающаяся отдельным индивидуумом, заключается в праве каждого человека использовать себя самого и свои способности. Вторая рождается из общего неограниченного права и превращается в право частное и исключительное. „Этот последний вид собственности стал источником всех народных бедствий. В том виде, как он существует, он „увечивает законный разбой, скопляет имущество в руках небольшого числа привилегированных лиц в ущерб большинству, возбуждая совершенно справедливое недовольство и возжелания последнего“. Из этого проистекают постоянная борьба интересов и раздоры между гражданами. А между тем „земля, взятая в целом, должна рассматриваться, как великая общая собственность природы“, и все люди без исключения имеют безграничное право пользоваться ее дарами. Действительными собственниками земли могут быть только целые нации, а на местах—общины, отдающие ее участками в пользование отдельных семейств.

Первоначально люди объединялись в общества с целью взаимной помощи и содействия увеличению средств к счастью, и каждый член общества мог в одинаковой степени использовать блага природы. Но с тех пор, как было установлено право земельной собственности, все это изменилось, и права природы были уничтожены. Вследствие этого в настоящее время „праздность, интриги, обман, дерзость извлекают все выгоды из общества, раздирая его на части, а трудолюбивая честность, осужденная на незаслуженную бедность, изнуряет себя, питая их“.

„Социальная справедливость“ может быть восстановлена при соблюдении двух основных принципов: 1) „Земля принадлежит всем вообще и никому в отдельности. 2) Каждый человек

имеет исключительное право на продукты своего труда". Из этих двух принципов Доливье делает тот вывод, что не может существовать права частной собственности на землю и что право пользования ею может иметь только временный характер. Таким образом, частная собственность должна сохраниться только по отношению к движимому имуществу. Последний вид частной собственности не смущал Доливье, так как, считая более важным вопрос аграрный, чем промышленный, он полагал, что при возможности для каждого мелкого городского ремесленника или другого собственника получить во временное пользование участок земли, сам собой разрешится социальный вопрос, и смягчится социальное неравенство. Высказываясь, как за переходную форму к своему идеалу общинной собственности на землю, за разделение крупных ферм на мелкие участки, Доливье утверждал, что с экономической точки зрения последние будут не менее производительными, чем первые. В дальнейшем, уничтожение права наследования на землю постепенно приведет к желанному идеалу — обеспечению каждой семьи определенным участком земли, на которую в случае нужды или желания она может претендовать.

Доливье подчеркивает все время, что его предложения не заключают в себе „аграрного закона“, ибо последний предполагает насильственное революционное изменение форм собственности, тогда как он имеет в виду мирное и постепенное преобразование. Но, по существу, Доливье предлагал тот же аграрный закон, который понимался, например, Бабефом совершенно в духе Доливье.

Считая, что его система разрешит окончательно продовольственный вопрос, ибо, при уничтожении крупных собственников и замене их мелкими держателями земельных участков, исчезнут поводы к скупществу и спекуляции, Доливье отрицательно относился к установлению твердых цен, — мере, носящей временный характер и не затрагивающей коренных причин переживаемого бедствия.

Система Доливье, осуществление которой было рассчитано на долгий период времени, не давала ответа на практический вопрос, как же быть сейчас, как непосредственно смягчить остроту кризиса, а именно этого ответа требовали недовольные

и волнующиеся массы. Не давал такого практического ответа и Ланж, мечтавший о создании земледельческих коммун-ассоциаций, ведущих хозяйство на общественных началах и содействующих усовершенствованию сельскохозяйственной техники.

Поэтому революционное законодательство не могло идти по пути этих теоретиков: оно вынуждалось стать на путь практики.

Первым шагом в этом направлении был декрет от 26 июля 1793 г., карающий скупщичество. Последнее объявлялось уголовным преступлением, и виновными в нем признавались все, „кто извлекает из обращения товары и предметы первой необходимости, которые они скрывают в каком-нибудь месте, не выставляя их для публичной продажи“, а также те, „кто сознательно уничтожает или допускает уничтожать сестные припасы или предметы первой необходимости“. Далее, декрет устанавливал понятие предметов первой необходимости, в число которых входили не только главнейшие сестные продукты, но и такие товары, как бумага, кожа, шерсть, мануфактурные изделия и т. п. Далее, декрет требовал от владельцев этих товаров в недельный срок дать сведения властям об имеющихся у них количествах их и после этого в трехдневный срок приступить к их розничной продаже; в случае отказа сделать это, муниципалитеты уполномачивались взять на себя организацию продажи. При этом декрет не устанавливал твердых цен, предоставляя владельцам товаров самим определять цены продаваемых товаров.

Закон этот носил репрессивный характер: за нарушение его устанавливалась конфискация имущества и смертная казнь, а донесший на скупщика получал в свою пользу третью часть конфискуемого имущества. Это наказание не оставалось только на бумаге, но во многих случаях применялось в действительности. Вызванный тяжелым положением, в каком находилась Франция, закон 26-го июля не разрешал, однако, вопроса о кризисе цен, и в нем имелись некоторые чрезвычайно трудно осуществимые на практике пункты (напр., обязательство розничной продажи, распространяемое и на оптовых торговцев).

Поскольку Конвент не решался установить максимума, поскольку финансовое положение Республики продолжало быть

неустойчивым, никакие репрессивные меры не могли помешать взвинчиванию цен и непрекращающейся спекуляции с ассигнациями. В целях ослабления расстройств государственной финансовой системы, Конвент принял ряд законов. В числе их следует указать декрет об ускорении уплаты государству сумм, должных ему лицами, приобретшими национальные имущества, что позволяло уменьшить число обращающихся в стране бумажных денег; декрет о признании недействительными ассигнаций, выпущенных еще при Людовике XVI, преследовавший ту же цель, и, наконец, декрет о принудительном прогрессивном миллиардном займе, который в принципе был признан необходимым еще в мае.

Но все эти меры были только паллиативами (мерами частичными), не разрешавшими кризиса. А на меру действительную и решительную, — таксировку цен, — Конвент долго не решался, пока не был к тому вынужден давлением народа. Уже под этим давлением Конвент принял в мае таксу на хлеб в зерне, но такса эта применялась на практике недостаточно строго. Возражения против принципа таксировки цен сводились к тому, что она нарушит свободную конкуренцию, что при распространении ее только на некоторые товары она поставит в неравные условия их владельцев и прочих торговцев; а в случае всеобщего применения, пойдет на пользу богачам, так как увеличит цену имеющихся у них ассигнаций, понизив цены на товары.

Поскольку рабочие требовали установления твердых цен, ссылаясь на все растущее несоответствие между ценой товаров и заработной платой, возникла мысль об установлении законом не *максимума цен*, но *минимума заработной платы*, и Комитеты Конвента даже выработали проект такого закона, но дело не пошло дальше проекта.

Наконец, после того, как последнее решительное слово было сказано народом, Конвент отказался от своих колебаний в этом вопросе.

Вечером 4-го сентября огромная толпа окружила здание Коммуны с жалобами на голодные цены и с требованиями положить им конец. Шомет и Гебер стали на сторону демонстрантов. Первый из них произнес перед толпой зажигательную речь,

в которой, между прочим, были следующие фразы: „Надо немедленно образовать революционную армию, которая обошла бы все деревни; пусть за каждым отрядом этой армии будет следовать роковое орудие народного мщения (гильотина), и пусть все скупщики, все богатые фермеры, отказывающиеся доставлять нам продовольствие, падут под нашими ударами“. Гебер, в свою очередь, предложил демонстрантам окружить Конвент, как это было сделано 10-го августа, 2-го сентября и 3 мая, чтобы заставить его принять необходимые меры.

Известие о событиях около здания Коммуны вызвало большое возбуждение в клубе якобинцев, где Робеспьер произнес резкую речь против скупщиков, угрожая, что, если не будут приняты против них меры, то народ сам учинит над ними расправу. Но, словно спохватившись, он тотчас же добавил к этому, что к движению примешиваются подозрительные и злонамеренные элементы, желающие дискредитировать законные революционные власти. „Эти преступники желают уничтожить Национальный Конвент, якобинцев, патриотов. Они стремятся отдалить от них народ, приписывая им все бедствия, жертвою которых становится народ. Уверяют, что в настоящий момент Паша осуждает не народ, а несколько интриганов, которые его оскорбляют и осыпают бранью, угрожая ему“.

В этот момент получилось известие, которое на короткое время отвлекло внимание от продовольственного вопроса, — известие о сдаче Тулона — важнейшего французского порта — англичанам. Самым тяжелым ударом было то, что он сдался добровольно, благодаря измене; даже рабочие арсенала, истомленные голодом, предпочли последнему сдачу врагу, щедро сыпавшему золотом и подкупавшему французских граждан. Но новый удар, подобно прежним, вдохнул только новую революционную энергию в сердца республиканцев, усилив в них террористические устремления. Коммуна и якобинцы высказались решительно за применение террора. Депутация последних в Конвенте требовала немедленного суда над арестованными жирондистами, и оратор, говоривший от ее имени, произнес зловещие слова: „Законодатели, поставьте террор в порядок дня“. Дантон потребовал ассигновки в 100 миллионов для выделки пик и оплаты рабочих за участие в заседаниях секций, которые не должны происхо-

доть чаще двух раз в неделю. Против последнего предложения протестовали Ру и Варле, усмотревшие в этом унижение для санюлотов и опасавшиеся, что эта мера может подорвать их влияние в секциях, которые их фанатичные последователи посещали регулярнее других граждан. По настоянию Робеспьера предложение Дантона было, однако, принято.

5-го сентября система террора получила официальное признание: была образована революционная армия и реорганизован революционный трибунал, усилена его деятельность и упрощена система судопроизводства.

Отодвинутый на время всеми этими событиями продовольственный вопрос не был снят с очереди, и 29-го сентября Конвент издал, наконец, декрет, устанавливавший твердые цены на очень большое количество продуктов продовольствия и обрабатывающей промышленности. Устанавливаемые твердые цены, исходя из средних цен 1790 года, повышали их на одну треть. Вместе с тем декрет повышал заработную плату рабочих на $\frac{1}{2}$ по сравнению с тем же 1790 годом, так что реальное улучшение положения рабочих благодаря революции сводилось к увеличению на $\frac{1}{6}$ их прежнего заработка (половина минус одна треть).

С этого же времени главной руководящей силой революции становится Комитет общественного спасения, обновившийся в своем составе и все более и более сосредоточивавший в себе всю полноту власти. Дантон, который играл наиболее видную роль в Комитете первого состава, категорически отказался вступить в него, несмотря на настояние Конвента. Несомненно, в данном случае, помимо чисто личных причин, играл роль и политический расчет. После неудачи с Дюмуре он не хотел брать на себя ответственности за всю политику власти, надеясь, может быть, оставаясь некоторое время в тиши, в надлежащий момент снова выдвинуться на авансцену и сыграть решающую роль (например, при заключении мира). Но он не учитывал при этом того, что, отказываясь от ответственности и активной роли, он лишал себя политического влияния и безвозвратно утрачивал свою былую популярность.

Это хорошо понимал Робеспьер, который именно теперь вошел в состав Комитета, в первом составе которого он не участвовал, и скоро занял в нем первое место. Таким образом,

в сентябре Комитет состоял из следующих лиц: Жан Бон Сент-Андре, Барера, Робеспьера, Кутона, Эри-де-Сешелля, Тюрио, Приера из Марны, Сен-Жюста, Роберта Линде, Билльо-Варенна, Колло д'Эрбуа и Карно. В этом составе Комитет обладал всеми данными, чтобы действовать энергично. 17-го сентября был издан закон, предписывающий местным комитетам составлять списки „подозрительных лиц“. Заработал революционный трибунал: одним за другим взойшли на эшафот жирондисты, Мария-Антуанетта, госпожа Ролан, бывший мэр Байльи (при Учредительном Собрании), Барнав (вождь партии фельянов—конституционных монархистов в Учредительном Собрании).

На ряду с мерами террористического характера Комитет общественного спасения в согласии с Конвентом приступил и к организационной работе. Карно, заведывавший военными делами, довел до конца реформу армии—ее амальгамирование—и осуществил переход армий к новой тактике наступления большими массами. Эта реформа и новая тактика очень скоро сказались успехами на всех фронтах республиканских армий. Лион и другие охваченные контр-революционным движением города были осаждены и снова заняты, при чем по отношению к покоренному Лиону Конвент принял суровый декрет, лишавший его прежнего имени, замененного названием „Освобожденная Коммуна“ и предписывавший снести до основания все дома богатей, фабрикантов и роялистов. Тулон также был отвоеван у англичан. В Вандее война продолжалась с прежним ожесточением, при чем комиссары Конвента и Комитета общественного спасения применяли самые жестокие репрессии по отношению к побеждаемым вандейцам. Ряд побед был одержан и над войсками коалиции. К Франции возвращались дни военной славы, дни Вальми и Жемаппа. В этих сражениях, благодаря реформе армии, стали выдвигаться новые военные таланты, революционные генералы, преданные, в отличие от Дюмуре, революции и всецело проникнутые ее духом.

В области внутренних реформ важнейшею было введение нового революционного календаря, принятого Конвентом в начале октября 1793 года. Летосчисление, согласно ему, велось не с начала христианской эры, а с провозглашения Республики,—22 сентября 1792 года. Новые названия месяцев соответствовали

временам года и выражали те или другие проявления природы (нивоз—месяц снега—декабрь—январь; плювиоз—январь—февраль—месяц дождей; брюмер—октябрь—ноябрь—месяц туманов и т. д.). Семидневная христианская неделя заменялась декадой (10 дней).

Программу текущей политики, которую приходилось проводить теперь Комитету общественного спасения, лучше всего формулировал Робеспьер в сентябре 1793 года в записке, найденной впоследствии в его бумагах. Вот существенные пункты этой программы: „Цель—осуществление Конституции в интересах народа. Главные наши враги—прочные люди и богачи. Их средства—клевета и лицемерие. Причины, облегчающие применение этих средств,—невежество санкюлотов. Необходимо просветить народ... Главные препятствия к установлению свободы—война внешняя и гражданская“. Отсюда Робеспьер выводил следующую практическую программу действий: „1) Преследование вероломных и контр-революционных писателей; пропаганда хороших произведений; 2) наказание изменников и заговорщиков, в особенности виновных депутатов и должностных лиц; 3) назначение генералов-патриотов и смещение и наказание непатриотов; 4) законы о продовольствии и другие народные законы“.

Эта программа имела в виду не постоянную диктатуру, но, напротив, применение Конституции и возможно скорейший возврат к нормальному положению вещей, когда управляет вся демократия, а не один только Комитет общественного спасения. Но чтобы сделать это возможным, необходимо временное революционное правительство, опирающееся на Конвент, необходимо объединение всех боевых революционных сил вокруг них. И потому—решительная борьба со всеми, кто подрывает престиж этих органов власти, сея анархию.

В первую очередь пришлось объявить войну гебертистам, опиравшимся на военное министерство, большинство клуба кордельеров и на части Коммуны и не переставшим несправедливо обвинять Комитет в бездеятельности и недостаточной энергии. А между тем члены Комитета работали, не покладая рук, дни и ночи, установив между собой разделение труда. Робеспьер, Сен-Жюст и Кутон ведали вопросами высшей политики; Барер, Билль-Варенн и Колло д'Эрбуа сносились с посылаемыми в провинцию комиссарами и являлись докладчиками по связанным

с этим вопросам в Конвенте. Остальные были „специалистами“: Карно и Приер—по военным делам, Жан Бон Сент-Андре—по морским, Линдэ—по продовольствию. Но при всем разделении труда каждый из них принимал на себя ответственность за всю политику Комитета в целом. В числе прочих упреков, посылавшихся гебертистами Комитету общественного спасения, был тот, что он слишком мягок по отношению к внутренним врагам, что гильотина работает недостаточно энергично. Но того требовали Гебер и Шометт, было террором ради террора, террором-эзекуцией, тогда как Робеспьер был сторонником террора только как устрашающего примера, которым не следует злоупотреблять. Поэтому Робеспьер обнаруживал в этот период относительную умеренность в преследовании своих противников: так, он находил нецелесообразным казнить 73 жирондистов, протестовавших против 31-го мая, после того, как казнены были их руководители, считая достаточным заключение их в тюрьме.

Нападая на Робеспьера за то, что он ничего не делает для улучшения положения народа, Гебер, в отличие от Ру, ничего практического не предлагал, удовлетворяясь грубой демагогией и заискиванием перед народными массами. Другое дело—Жак Ру. Этот фанатик искренно верил в правоту своих идей и искренно желал блага трудящимся, с которыми он сроднился. Несмотря на все гонения, он продолжал свою агитацию в секции Гравилье, и эта агитация сильно смущала Робеспьера и других монтаньяров. Чтобы избавиться от этого опасного человека, его обвинили... в краже общественных денег клуба кордельеров. Это обвинение, повидимому, неосновательное, но поддержанное Шометтом и Гебером, вызвало протесты сторонников Ру, добившихся освобождения его из тюрьмы под поручительство.

Но враги не унимались, и дело Ру из уголовного суда было передано в революционный трибунал. Тогда Ру, понимая, что дело его проиграно, нанес себе три раны ножом; но так как его старались вылечить, чтобы судить, он снова ранил себя,—на этот раз смертельно.

Так закончилась политическая деятельность этого человека, при всей своей осторожности выражавшего народные настроения и стремления, которые он стремился привести в систему,

и оказавшего некоторое влияние на экономическую и финансовую политику революции.

Больше социалистических тенденций, чем у Гебера, можно найти у Шометта. Занимаясь вопросом об улучшении положения трудящихся масс, он подошел вплотную к идее национализации фабрик. Эта идея выплыла у него в связи с тем сопротивлением, которое встретило со стороны буржуазии проведение в жизнь закона о максимуме. В своей речи в Коммуне по этому поводу он говорил, между прочим: „Если у них (торговцев, фабрикантов, банкиров) есть золото и ассигнации, то Республика имеет нечто более драгоценное, а именно—руки. А для приведения в движение фабрик и мануфактур нужны руки, а не золото. Так вот, если эти господа будут оставлять фабрики, Республика овладеет ими и реквизирует сырье. Пусть знают они, что от Республики зависит, если она того пожелает, обратить в грязь и пепел золото и ассигнации, которые находятся в их руках. Народ-великан сумеет уничтожить торговую спекуляцию“.

Для Шометта национализация фабрик являлась, следовательно, не столько экономическим мероприятием, имеющим самодостаточную ценность, сколько политическим средством и угрозой для непокорной и спекулянтской буржуазии. Та же идея еще более определенно выражалась в провинции (Ньевре, Нанте, Лионе), где комиссаром Конвента (Фушэ и др.) приходилось в борьбе с умеренной и федералистически настроенной буржуазией опираться на рабочих. Так, в манифесте, выпущенном Фушэ в конце августа в Лионе, мы читаем: „Богатый имеет в своих руках могучее средство, заставляющее его любить свободу, это—его избытки. Но если в настоящих условиях, когда граждане страдают от всех бедствий нужды, эти избытки не будут употребляться на ее облегчение, Республика имеет право овладеть ими с этой целью... Богатые эгоисты, если вы глухи к воплям человечества, если вы нечувствительны к волнениям нужды, прислушайтесь, по крайней мере, к советам, даваемым вашими собственными интересами, и пораздумайте: что случилось с начала революции со всеми теми, кто, подобно вам, был обуреваем одной только ненасытной и гнусной жадностью власти и стяжания!“

В духе этого манифеста Фушэ опубликовал в Невре и Нанте ряд декретов, обязывающих богатых кормить бедных, устанавливающих для здоровых право на труд и объявляющих „подозрительными мануфактуристов, оставляющих в пренебрежении свои мануфактуры, и предпринимателей, не доставляющих средств существования своим рабочим“. В этом же направлении защиты интересов рабочих шла работа Шометта в качестве прокурора Коммуны.

В тот же период времени Камбон провел меру, которую можно назвать национализацией банков, по крайней мере в отношении их операций с за-границей. Вообще, идея национализации и муниципализации промышленности и торговли была в 1793 году чрезвычайно распространена (ее отстаивал также дантонист Бодо) и частично проводилась даже на практике, но она, повторяем, рассматривалась не как мера социалистического характера, а как временное политическое средство, вызываемое чрезвычайными условиями и диктуемое революционной политикой власти по отношению к контр-революционной буржуазии.

Движение в пользу национализации легко объясняется политической обстановкой 1793 года. В борьбе пролетариев, поддерживавших в своем большинстве монтаньяров, против жирондистской буржуазии, все более обнаруживалось противоречие между политическим строем, передававшим в их руки власть, и экономическим, устанавливавшим их зависимость. Наиболее целесообразным выходом из этого противоречия казалась национализация всей промышленности. Эту мысль выразил член Комитета общественного спасения Жан Бон Сент-Андрэ: „Промышленность может идти полным ходом, не будучи зависимой от того, кто пользуется ею теперь, не жертвуя нисколько своей свободой. Если нация сумеет сама занять все рабочие руки, она разом уничтожит аристократию во всех ее разветвлениях и навсегда предупредит возможность ее возвращения“. И в своей политике, в качестве члена Комитета, заведывавшего снабжением армии и флота, Жан Бон проводил на практике такую национализацию.

Но если социалистические тенденции в этот период проявлялись наружу у весьма различных по своим политическим воззрениям деятелей, то среди гебертистов отнюдь не было един-

ства социальных и экономических воззрений. Их объединяла прежде всего антирелигиозная политика, которая с этого времени стала играть большую роль в их деятельности и привела их к решительному столкновению с Робеспьером.

Роль, которую играло в контр-революционном движении духовенство, заставила гебертистов направить теперь свои удары не только против неприсягнувшего духовенства, но и против „конституционного“ духовенства, против христианства и религии вообще. Антихристианское движение получило сильное развитие с августа по ноябрь 1793 года.

Под влиянием некоторых гебертистов несколько священников, в том числе парижский архиепископ Гобель, торжественно заявили в Конвенте о сложении с себя духовного звания, как несовместимого со служением революции и разуму. Их пример вызвал подражание многочисленных священников в провинции.

Пользуясь настроением, созданным этими актами отречения, Парижская Коммуна решила организовать 10-го ноября гражданский праздник, посвященный культу Разума и имеющий целью заменить религиозные празднества. Конвент принял в полном составе участие в этом празднестве, не приняв во внимание, что это антирелигиозное движение затрагивает сильные еще в народе религиозные чувства и предрассудки, грозя вызвать с его стороны опасную реакцию.

Одновременно с этими чисто декоративными актами шли другие, имеющие гораздо большее принципиальное значение. 9-го октября Фушэ издал в Невере декрет, согласно которому запрещались какие бы то ни было религиозные отправления любой религии вне храмов; священникам запрещалось вне стен последних носить духовную одежду; все религиозные изображения удалялись с улиц, площадей, дорог и других общественных мест, устанавливалась процедура похорон без всяких религиозных церемоний и т. д. Парижская Коммуна пошла еще дальше: декретом 17-го ноября, принятым по инициативе Шометта, она фактически отменила свободу культов, постановив: 1) Все церкви или храмы всех религий и культов, существующие в Париже, должны быть немедленно закрыты. 2) Все священники и служители всех культов будут лично и индивидуально ответственны за все беспорядки, источником которых будут религиозные мне-

ния; всякий, потребовавший открытия храма или церкви, будет арестован в качестве подозрительного лица...”

Этот решительный шаг Коммуны вызвал протест Робеспьера в якобинском клубе против ее антихристианской политики, что заставило Шометта забить отбой и высказаться за свободу культов, но за полное отделение церкви от государства. Речь Робеспьера была объявлением решительной войны атеизму: „Существуют люди,—говорил он,—которые под предлогом борьбы с предрассудками, образуют своего рода религию атеизма. Всякий философ, всякий человек может иметь какие ему угодно религиозные мнения. Тот, кто желал бы видеть в этом преступление, был бы сумасшедшим. Но во сто раз более сумасшедшим был бы государственный человек, законодатель, который принял бы какую-нибудь определенную религиозную систему. Национальный Конвент воздерживается от этого. Конвент не является автором книг и метафизических систем; он—политическое и народное учреждение, обязанное внушать уважение не только к правам, но и к характеру французского народа. Не случайно он провозгласил Декларацию прав человека пред лицом Верховного Существа. Может-быть, скажут, что у меня узкий кругозор, что я человек с предрассудками, может-быть, фанатик. Я уже сказал, что я говорю не как отдельная личность или философ, но как представитель народа. Атеизм—аристократичен. Напротив, идея высшего существа, охраняющего угнетенную невинность и наказывающего торжествующее преступление, чисто народная идея“.

Таким образом, нетерпимости атеизма Робеспьер противопоставлял нетерпимость деизма, новой народной религии.

Ни атеизм Гебера и Шометта, ни деизм Робеспьера не имели, однако, прочных корней в широких массах народа и не могли удовлетворить сохранившихся в нем религиозных потребностей. Гебер не осмеливался выступить открыто против слабых мест религиозной концепции Робеспьера. Но он старался понемногу при помощи Коммуны ослабить влияние Конвента и его Комитета общественного спасения, захватив в ее пользу ряд их функций. Это значило ослаблять революционные силы в угоду небольшой кучки парижских сектантов, незначительной политической группы.

Главное влияние гебертистов было в военном ведомстве, где большую роль играли их сторонники Ронсен и Венсан. Отсюда их стремление переоценивать роль армии в революции, их готовность продолжать и расширять войну за пределы чисто оборонительных задач и проникающий их своеобразный милитаристский дух. Особенную воинственность и склонность к чисто военным репрессиям гебертисты проявляли по отношению к побеждаемым в гражданской войне французским городам. Последнее встречало поддержку со стороны некоторых комиссаров Конвента (Фрерон, Баррас, Колло д'Эрбуа, Каррье), которые свои победы над контр-революционными городами озаменовывали чрезвычайными жестокостями. Так, по предложению близкого к гебертистам Колло д'Эрбуа Комитет общественного спасения дал свою санкцию на разрушение мятежного Лиона и на массовое выселение из него рабочих.

Желание гебертистов продолжать войну во чтобы то ни стало создавало логическую преемственную связь между ними и жирондистами (Бриссо), с одной стороны, и Бонапартом, с другой. Вот почему гебертисты так враждебно относились к внешней политике Дантона и Робеспьера, понимавших необходимость в интересах революции возможно скорее заключить прочный и почетный мир. Эти завоевательные, чисто империалистские тенденции гебертистов особенно резко выражены были у того самого Клотца, который теоретически был сторонником вечного мира и объединения в единое целое всех наций, рисовавшееся ему в виде постепенного революционного завоевания всего мира санкюлотами.

Этим завоевательным, милитаристским взглядам Сен-Жюст и Робеспьер противопоставляли совершенно другую позицию. „При каждом сражении,—говорил первый,—мы теряем тысячи свободных людей, тогда как коалиция теряет только рабов“, а Робеспьер писал: „Надо вооружаться не для того, чтобы идти за Рейн, что означало бы вечную войну, но чтобы продиктовать условия мира, мир без завоеваний“, и говорил в якобинском клубе: „Английский народ отстал от нас на два столетия; если он хочет свободы пусть завоевывает ее сам“.

В той систематической борьбе, которую с этого времени упорно повел против гебертистов Робеспьер, он прежде всего

рядом законодательных актов постарался ослабить их политическое влияние. 17-го сентября местные наблюдательные комитеты обязывались вступать в непосредственные сношения с Конвентом, и Парижская Коммуна лишалась, следовательно, своей роли революционного центра. 10-го октября введение Конституции отсрочивалось до заключения мира, и Комитет общественного спасения получал санкцию законного правительства Республики. Наконец, декрет от 4-го декабря фактически обеспечивал Комитету всю полноту власти, заменяя местных прокуроров округов и общин „национальными агентами“, т.-е. представителями, назначаемыми сверху Комитетом общественного спасения. Тот же декрет постановлял, что „ни один гражданин, уже занятый на службе Республики, не может исполнять или стремиться к получению должности, связанной с прямым или косвенным наблюдением за его функциями“. Это прямо метило в гебертистов, многие из которых, занимая посты в военном ведомстве, одновременно состояли членами наблюдательных комитетов.

Нападая на гебертистов, Робеспьер всегда выступал на защиту революционеров, которым угрожали нападки гебертистов. Так, он выступал на защиту подвергавшегося их нападкам Дантона. По мере возможности Робеспьер старался смягчить или довести до минимума те крайности терроризма, в которых повинны были агенты Комитета на местах. Последняя задача была тем более трудной, что освобождение революционного движения от его эксцессов должно было производиться таким образом, чтобы не ослаблять его и питающей его революционной энергии народа.

Ошибка и историческая вина дантонистов состояла в том, что они не поддержали этой политики Робеспьера. Отказавшись от участия во власти, Дантон естественно стал центром, вокруг которого стала группироваться оппозиция Комитету общественного спасения. И если сам Дантон не проявлял активности в борьбе с Робеспьером, то его друзья, прикрываясь его именем, начали плести сеть интриг против Комитета и его главы—Робеспьера. Пользуясь всякими отдельными упущениями власти, дантонисты, в особенности Фабр д'Эглантин и Филиппо, опираясь на недовольных Комитетом как тех, кто упрекал его в излишних крайностях, так и тех, кто считал его слишком уме-

ренным (гебертисты), начали свои ожесточенные атаки против него. Постепенно, однако, в нападениях дантонистов на Комитет стала все более явственно звучать одна нота,—милосердие и умеренность, требования прекращения кровопролития в гражданской войне и обвинения Робеспьера в том, что он находится под влиянием кровожадных гебертистов, от которого он не может никак освободиться. Эту тему талантливо стал развивать в своем журнале „Старый Кордельер“ Камилл Демулен. Как будто забывая о той напряженной борьбе, которую приходится вести Республике, и о грозящих последней со всех сторон опасностях. Демулен обвинял Комитет в тирании и требовал смягчения террористической политики. „Свобода,—писал он,—это—счастье, это—разум, это—равенство, это—справедливость, это—Декларация прав, это—ваша возвышенная Конституция. Хотите, чтобы я ее признал, пал к ее ногам и проливал свою кровь, во имя ее? Так раскройте тюрьмы для тех двухсот тысяч граждан, которых вы называете подозрительными, потому что в Декларации прав нет поводов к подозрению, нет основания для арестов. Для подозреваемых не должно быть тюрем, но только общественный обвинитель и установленные законом преступления. Не думайте, что эта мера будет пагубной для республики, так как это будет самой революционной мерой, какую вы только можете принять. Вы хотите истребить всех ваших врагов при помощи гильотины? Существовало ли когда-нибудь большее безумие? Разве вы можете дать погибнуть на эшафоте хоть одному человеку, не создавая себе врагов в лице его семьи или детей?... Из ваших врагов среди вас остались только трусы и больные; храбрые и сильные эмигрировали; они погибли в Лионе или Вандее; все остальные не заслуживают вашего гнева“. Подрывая авторитет революционной власти, Демулен не замечал, что этим он только отдалает момент, когда возможно будет перейти к нормальному строю управления.

В ответ на все эти нападки справа и слева, Робеспьер решил действовать энергично. Он начал с клуба якобинцев, потребовав исключения из числа его членов подозрительных элементов, прежде всего Клотца за его антирелигиозную политику и пропаганду бесконечной войны и добился этого. Тогда Гебер выступил с обвинениями против Демулена. Робеспьер выска-

зался в пользу последнего,—своего прежнего близкого друга, ограничившись только предложением сожжения номеров его журнала с инкриминируемой статьей. Но вместе с тем он выдвинул тяжелое обвинение против Фабра д'Эглантина в подделке одного важного политического документа. Это нападение было, в сущности, актом самообороны против интриг дантонистов. И хотя не удалось установить вины Фабра д'Эглантина в приписываемом ему преступлении и, в лучшем случае, можно было говорить лишь о его неосторожности, он был арестован вместе с замешанным в том же деле Шабо. Дантон вначале сделал попытку защищать своего друга Фабра, но, встретив сопротивление со стороны Комитетов общественного спасения и безопасности, отказался от своего намерения.

Но еще до своего ареста Фабру д'Эглантину удалось добиться от Конвента постановления об аресте гебертистов: Ронсена, Венсана и Майяра за их ультра-революционную политику. Постановление это вызвало бурю негодования в военном министерстве среди кордельеров и в некоторых секциях. Началась агитация против Робеспьера, вспоминалась жирондистская комиссия двенадцати, и народ предупреждался об опасности репрессивной политики против крайних левых. На защиту арестованных встал влиятельный член Комитета общественного спасения Колло д'Эрбуа и даже клуб якобинцев. Робеспьер не решился идти против такого настроения. Арестованные были освобождены, нападение было отбито. Этот случай вдохнул новые надежды в среду гебертистов, и он уже убедил Робеспьера, что для того, чтобы поразить с успехом крайних революционеров слева, необходимо одновременно поразить и модерантистов (умеренных) справа, то-есть дантонистов. Иного выбора не оставалось, и политика Робеспьера в ближайшие месяцы определялась именно этим сознанием.

Манифест Комитета общественного спасения от 8-го вантоза, составленный Сен-Жюстом, но несомненно вдохновленный Робеспьером, открывает эту борьбу на два фронта. Возражая умеренным, Сен-Жюст утверждает в манифесте прежде всего, что революционное правительство Франции обнаруживает гораздо большую умеренность, чем все другие правительства. Далее манифест метит прямо в Дантона, не называя его по имени,

говоря о его стремлении к реакции: „Несомненно есть среди сторонников милосердия некто, кто в душе своей имеет намерение заставить нас вернуться вспять...“. И дальше: „Первый из всех законов, это—сохранение Республики. Во Франции существует секта, которая играет на всех струнах; она движается медленными шагами. Если вы говорите о терроре, она вам будет говорить о милосердии; если вы станете милосердными, она будет превозносить пред вами террор. Она хочет быть счастливой и наслаждаться... Похоже на то, что каждый из них, под влиянием своей совести и неумолимости законов, говорит себе: мы недостаточно добродетельны, чтобы быть столь страшными. Законодатели, философы, имейте снисхождение к нашим слабостям. Я не осмеливаюсь сказать вам: я порочен; я предпочитаю поэтому говорить: вы жестоки“.

Вторая идея, проникающая манифест, имеет специальный характер: необходимость создания общественных учреждений, на которые могла бы опираться Республика. Сен-Жюст высказывается за ограничение права наследования, за обязательность труда, предупреждающего накопление собственности в руках туенядцев, за покровительство промышленности и искусству, за уничтожение земельной ренты, за обеспечение демократии посредством создания кадров мелких собственников.

Для ближайшего времени Сен-Жюст требовал проводимой в широких размерах революционной экспроприации, применяемой не только по отношению к феодальной собственности, но и ко всякой иной, находящейся в руках врагов революции. Взгляды Сен-Жюста, изложенные в манифесте, можно характеризовать, как терроризм с социалистическим оттенком.

„Я вам говорил уже, что система Республики связана с разрушением аристократии. В самом деле, сила обстоятельств ведет нас к результатам, о которых мы, может-быть, раньше и не думали. Богатство находится в руках довольно большого числа врагов Революции; нужда ставит трудящийся народ в зависимость от его врагов. Можете ли вы себе представить существование государства, в котором гражданские отношения начинают противоречить форме правления? Те, кто совершил революцию, только вырыли себе наполовину могилу. Революция привела нас к признанию принципа, что тот, кто является вра-

гом своей страны, не может быть в ней собственником. Нужно еще немного усилий гения, чтобы спасти нас. Разве для того народ проливает свою кровь на границах, и все семьи носят траур по своим детям, чтобы доставить наслаждение своим тиранам? Вы должны установить принцип, что только тот имеет права в нашем отечестве, кто работает над его освобождением. Уничтожьте нищенство, которое позорит свободное государство; собственность патриотов священна, но имущество заговорщиков должно быть предоставлено в распоряжение всех несчастных. Несчастные—самый могущественный элемент на земле; они имеют право говорить в качестве хозяев с правительствами, которые ими пренебрегают“. Необходимо установить соответствие между тем, что Сен-Жюст называет гражданским строем (экономическими отношениями), и политическими формами: „Революция произошла только в области управления; она не затронула еще гражданского строя. Управление основано на свободе, а гражданский строй—на аристократии, которая представляет собой врагов свободы, находящихся между народом и вами. Неужели вы захотите оставаться вдали от народа, вашего единственного друга?... Дерзайте: это слово обнимает собой всю политику нашей революции“.

Манифест от 8-го вантоза произвел в стране и в Париже чрезвычайно сильное впечатление. Направленный, главным образом, против дантонистов и ограничивавшийся одной только беглой иронической фразой по адресу гебертистов о странном времени „когда священник становится атеистом, а атеист священником“, он вызвал в первый момент удовлетворение кордельеров, ставивших свою политическую ставку на борьбе с умеренностью. Но, по существу, он был только первым решительным шагом политики ударов одновременно направо и налево. Ибо для Робеспьера и Сен-Жюста, как мы уже говорили, поразить гебертистов значило предварительно нанести удар дантонистам.

Считая, что с дантонистами скоро будет покончено и что вслед за тем придет очередь Робеспьера и его сторонников, крайние начали действовать. Ронсен и Венсан, вожди гебертистов, решили произвести народное восстание, повторить сентябрьскую резню заключенных в тюрьмах „подозрительных“, очистить правительство и Конвент от недостаточно революци-

онных, с их точки зрения, элементов (т. е. остатков жирондистов, дантонистов, а может быть, и некоторых сторонников Робеспьера). В клубе кордельеров, который являлся в это время главной трибуной гебертистов, в заседании 14 вантоза (4-го марта) они открыто говорили о близости восстания. С призывами к восстанию выступили там Каррье и Гебер. Последний, не решаясь назвать имени Робеспьера, недвусмысленно намекал на него, когда говорил следующие слова: „Вы затрепещете, когда узнаете адский проект этой клики (дантонистов и робеспьеристов); она желает спасти сообщников Бриссо, шестьдесят шесть роялистов, совершивших то же самое преступление и, следовательно, заслуживающих эшафота. Почему хотят их избавить от наказания? Потому что интриганы чувствуют, что они сами подлежат этому наказанию; потому что другие интриганы желают об'единить вокруг себя этих роялистов, чтобы управлять ими и иметь достаточное количество своих креатур“. Обвиняя „клику“ в назначении крайне умеренных министров, в покровительстве клеветам Демулена (здесь явно имелся в виду Робеспьер), Гебер закончил свою речь при громких аплодисментах следующими словами: „Раз клика существует, раз мы ее видим,—каково же должно быть средство нашего освобождения? Восстание. Да, восстание, и кордельеры не окажутся в последних рядах, когда потребуется дать сигнал к смертоносным ударам против угнетателей“.

Подготавливая восстание, гебертисты рассчитывали, что парижский народ поддержит их, страдая от продовольственного кризиса, как поддержал по той же причине восстания 10-го августа и 31-го мая. В это время как раз Париж переживал мясной кризис, вследствие прекращения подвоза скота из Вандеи благодаря гражданской войне и огромным реквизициям на нужды армии. Ронсен, бывший одним из инициаторов заговора и намечавшийся к роли Анрио в качестве главнокомандующего революционной армии, надеялся обеспечить успех восстанию и сочувствие перевороту со стороны населения парижских предместий раздачей ему на другой день после победы продовольственных запасов, предназначенных для армии и имевшихся в изобилии в продовольственном ведомстве, которое находилось в руках гебертистов, и металлического запаса, собранного Коми-

тетом общественного спасения в монетном дворе и казначействе. Вместе с тем Ронсен принимал все меры к сосредоточению в Париже возможно большего количества революционных солдат, которые должны были составить главную опору переворота, посредством выдачи им отпусков с фронта.

Комитет общественного спасения знал о всех приготовлениях к этому чисто военному перевороту, предвосхищавшему идею переворота 18-го Брюмера, совершенного впоследствии Наполеоном Бонапартом, но только 13-го марта (23 вантоза) он решил нанести заговорщикам удар. В этот день Сен-Жюст выступил в Конвенте с речью, в которой искусно соединил обвинения как против умеренных, так и против крайних: „Все заговоры представляют собой нечто единое; они подобны войнам, которые кажутся бегущими в разные стороны, а на самом деле перемешиваются между собой. Клика снисходительных (дантонистов), желающая спасти преступников, и клика иностранцев (гебертистов; здесь Сен-Жюст применил обычный для того времени прием—обвинения своих противников в продажности и зависимости от иностранцев), которая делает вид, что кипит, потому что в противном случае она была бы разоблачена, но на самом деле требует репрессий по отношению к защитникам народа,—сходятся ночью, чтобы подготавливать свои преступления, совершаемые днем, они делают вид, что борются между собой, чтобы разбить сочувствие общественного мнения между ними; они затем сближаются, чтобы задушить свободу в тисках двух преступлений... Заграница об'единяет эти клики и заставляет их раз'единяться своей политической игрой, чтобы обмануть глаз наблюдателя народной юстиции. Эти различные партии напоминают разные грозные тучи на одном и том же горизонте, которые сталкиваются и смешивают свои молнии и громы, чтобы поразить народ“.

В тот же вечер были арестованы Маморо, Венсан, Гебер и Ронсен (Анахарзис Клотц был арестован еще раньше). Арест этот вызвал некоторый ропот в предместьях, которые привыкли видеть в гебертистах своих защитников, но кордельеры, лишившись своих вождей, не решились протестовать против него. Напротив, якобинцы, которые все больше об'единялись вокруг Комитета общественного спасения, поддержали его после

сделанных Робеспьером объяснений в данном случае, как и в случае ареста умеренных: Эри-де Сешеля и Симона, произведенного через несколько дней после ареста гебертистов.

С целью смягчить впечатление от казни гебертистов и подтвердить обвинение в зависимости их от иностранного золота, их смешали в одном процессе с группой ничего общего с ними не имевших интриганов (прием, который с этих пор систематически стал применяться Комитетами общественного спасения и безопасности). Процесс гебертистов не поднял их престижа, так как они не сумели на нем дать принципиальное освещение своей политики, хотя большинство их, за исключением Гебера, и на суде и на эшафоте обнаружило личное мужество. Казнь гебертистов вызвала нескрываемое торжество реакционеров и контр-революционеров, видевших в ней начало конца революции. В демократических массах она, напротив, породила большое смущение: одни продолжали считать их невинными жертвами; другие разочарованно спрашивали себя, кому же остается верить, если и гебертисты оказываются врагами революции. Друзья казненных усиливали это смущение, что, будь бы жив Марат, популярность которого сохранялась в народных массах, он разделил бы участь гебертистов.

За гебертистами пришла очередь дантонистов. Говорят, что Робеспьер пытался отстоять перед Комитетами жизнь Дантона и Демулена, но вынужден был уступить. Отдавая в жертву гильотине гебертистов, он тем самым обрекал на казнь и дантонистов: эта была необходимая уступка крайним террористам Комитетов: Бильо-Варенну, Колло д' Эрбуа и Амара, которые требовали голов Дантона, Демулена и их друзей за головы Гебера, Венсана и Ронсена.

С требованием предания суду дантонистов перед Конвентом снова выступил непреклонный Сен Жюст. Но так как отсутствовали какие-либо данные, свидетельствующие об их виновности, пришлось возводить на них поклепы, клеветать на них, чернить их личную жизнь; так, Дантона клеветнически обвиняли в приверженности к роялизму. Конвент был поражен, узнав об аресте Дантона, но не решился протестовать.

Дантон и его друзья мужественно защищались перед революционным трибуналом. Дантон обнаружил на суде все свое

мужество и весь гений своего ораторского таланта. Он то со спокойствием и гордостью относился к своей предстоящей участи, говоря: „Моим жилищем скоро будет небытие, а мое имя будет жить в Пантеоне истории“ и „жизнь мне стала в тягость, пусть ей будет положен конец“; то возмущался обвинениям в роялизме, измене, продажности; то обвинял своих обвинителей, обличая Робеспьера. Его громовый голос трибуна далеко был слышен через открытые окна зала суда и волновал собиравшуюся вокруг последнего толпу. Поэтому суд сократил до минимума процедуру разбирательства, прерывал обвиняемых и лишил их и тех немногих прав, которыми пользовались еще подсудимые в революционном суде.

После казни гебертистов и дантонистов положение революции стало еще более затруднительным; она явно катилась к своему закату. Перед ней стояли еще огромные задачи, а ее основание в результате гражданской войны все более суживалось. Вина жирондистов заключалась в том, что они хотели противопоставить главной революционной силе—Парижу—департаменты и, разрывая единство революционных сил, вызвали Париж на восстание 31-го мая. Теперь, наоборот, Конвенту приходилось сосредоточивать все свои силы на Париже, который становился единственной точкой опоры революции, а так как несколько тысяч решительных людей во всякий момент легко могли завладеть этой точкой опоры, то Комитету общественного спасения не оставалось ничего другого, как апеллировать к террору, который удерживал до поры до времени власть в его руках. Ослабление революции вызывалось не тем, что в изобилии проливалась революционная кровь, а тем, что происходило разделение мысли и борьба отдельных революционных групп между собой. Диктатура и бонапартизм были подготовлены не обезглавливанием всех великих людей революции, а их взаимной борьбой.

Но пока революция еще продолжала с успехом отбиваться от внешних врагов и совершать внутренние преобразования. Армия совсем не была затронута гражданской войной, и авторитет Комитета общественного спасения стоял в ней весьма высоко. Это облегчало внешние успехи и победы над войсками коалиции.

В области внутренних реформ надо отметить прежде всего вопрос о народном образовании. В сентябре 1793 года Конвент, отвергнув первоначально одобренный им проект Лелеллетье, принял в принципе основные положения системы энциклопедического образования Кондорсе, но фактически ограничился организацией первоначальных школ, предоставив свободной конкуренции дело среднего и высшего образования.

Важным делом Конвента было также принятие доклада Батлера об организации социального обеспечения больных, бедных, слабых и стариков.

Свидетельством в пользу доверия, которое еще продолжала внушать к себе революция, служит тот факт, что после 31-го мая продажа национальных имуществ, одно время приостановившаяся, пошла быстрыми шагами вперед. Хотя соответствующий декрет допускал продажу земель духовенства и эмигрантов мелкими участками, но не делал этого обязательным; вследствие этого дробление земель не дошло до своих крайних пределов, и потому, если, с одной стороны, продажа национальных имуществ создала обширный класс мелких земельных собственников, признательный революции и поддерживавший ее принципы, то, с другой стороны, она же дала почву для спекуляции землей и наживания крупных состояний.

Приобретение земель из национального фонда сильно облегчалось для широких слоев населения законами о максимуме, которые, устанавливая твердую цену на предметы первой необходимости, тем самым значительно понижали цену на землю. Это отчасти компенсировало земельных собственников и арендаторов за те преимущества, которые за их счет получали горожане благодаря таксировке. Против законов о твердых ценах все время раздавались протесты,—и не только со стороны землевладельцев всех видов, но и со стороны городских купцов и промышленников. Последние указывали на несоответствие между этими ценами и размерами заработной платы, которую приходится уплачивать рабочим. Эти протесты заставляли местные органы власти, настаивая на соблюдении закона о максимуме, вместе с тем добиваться применения тех его пунктов, которые касались установления максимальной заработной платы. В свою очередь, имеются факты, что рабочие в некоторых случаях ста-

рались обойти закон о максимуме, так как благодаря революционному движению им удавалось часто добиваться лучших условий оплаты, чем те, которые им гарантировал закон о максимуме.

Несмотря на все вызываемое им недовольство, закон о максимуме сыграл положительную роль в революции, так как, восстанавливая доверие к ассигнациям, он парализовал панику и ослабляя чрезвычайную напряженность всех экономических отношений. Экономическое положение Франции в 1793—94 гг. было действительно очень тяжелым. Не было, правда, голода, не было, собственно говоря, даже абсолютного недостатка продуктов, но вся экономическая жизнь была потрясена благодаря внешней и внутренней войне и связанным с ней затруднениям в доставке и перевозке продуктов, отвлечению массы продуктов для армии и т. д. Промышленность тоже подвергалась кризису благодаря военным и революционным событиям. Некоторые отрасли ее (шелковая в Лионе) совершенно приостановились; в других случаях фабрики останавливались за неимением рабочих, ушедших на войну, а между тем военный спрос требовал непрерывной усиленной работы некоторых отраслей промышленности; наконец, некоторые отрасли не имели необходимого им сырья. Все это заставляло власти прибегать к экстренным мерам, в роде запрещения рабочим-специалистам покидать самовольно фабрики, переливки колоколов в орудия, конфискация ряда недостающих предметов у частных лиц, создания новых государственных фабрик и т. п. Все эти меры сочувственно встречались народными массами, и рабочие, как и другие граждане, охотно шли на патриотические жертвы ради спасения революции. Но, идя на жертвы, рабочие вместе с тем старались обеспечить себе лучшие условия труда, добиваясь большего досуга—путем сокращения рабочего дня, чтобы использовать его в интересах самообразования и участия в общественных делах.

Казнь гебертистов и дантонистов открыла собой новую полосу казней. За ними вскоре последовали Шометт, епископ Гобель, вдовы Гебера и Демулена и многие другие.

Робеспьер освободился теперь от своих главных противников; враждебные ему партии были уничтожены; перед ним открывалось обширное поле деятельности, на котором он мог беспре-

пятственно творить. Но вместе с тем возникал роковой вопрос: что делать? какова должна быть программа положительной деятельности?

После того, как были устранены с пути демагогия крайних левых и модерантизм дантонов, заставлявшие Робеспьера колебаться то в одну, то в другую сторону, казалось, следовало бы встать на путь постепенного возвращения к нормальному строю. Напряжение всех революционных усилий, всех сил жизни и смерти не может долго продолжаться. Террор не может быть нормальным режимом; война не может длиться бесконечно, как и экономическая регламентация и таксация цен. Наконец, и диктатура Комитета общественного спасения могла быть только временным явлением. Со всем этим необходимо было как можно скорее покончить и восстановить в интересах революции нормальный демократический строй, не отказываясь, конечно, от того, чтобы быть страшным для всех врагов революции. Эта политика, совершенно *необходимая* и единственно спасительная для революции, становилась *возможной* после укрепления последней и ее органов власти в результате внешних побед, поражения контр-революционных движений в Лионе, Марселе, Тулоне, Вандее, после устранения с политической сцены партий, подрывавших престиж Конвента и Комитета общественного спасения. Конечно, проведение этой политики в условиях продолжающейся еще войны, экономических затруднений и атмосферы, насыщенной политическим террором, было весьма трудно, и руководящие деятели революции этого периода—Робеспьер и Сен-Жюст—не смогли справиться с этой трудной и ответственной задачей, но это не значит, что эта задача была не выполнима. И Робеспьер и Сен-Жюст понимали необходимость возвращения к нормальной жизни. Они неоднократно это заявляли, но они не находили путей к этому переходу. Так, Сен-Жюст вскоре после казни гебертистов и дантонов писал: „Революция стоит на точке замерзания; все принципы ослабевают... Практика террора так же притупила наше отношение к преступлению, как крепкие ликеры притупляют вкус. Без сомнения, еще не настало время делать добро. Отдельные проявления добра, которые делаются, являются только паллиативом. Необходимо ждать всеобщего зла, достаточно широкого,

чтобы общественное мнение испытало потребность в мерах, способных делать добро. Тот, кто работает на общую пользу, всегда страшен, и кажется странным, когда начинают слишком рано“. Так же думал Сен-Жюст и по отношению к экономической политике: высказываясь в принципе против системы бумажных денег и твердых цен, он считал необходимым временное их сохранение. „Я советую,—писал он,—всем тем, кто желает добра, подождать благоприятного момента, чтобы его делать, чтобы избежать славы получения его преждевременно“. И тот же Сен-Жюст рисовал мрачный образ революционера—террориста, „вынужденного изолироваться от мира и от самого себя, бросающего якорь в будущее, ускоряющего в своем сердце наступление будущего, неповинного в бедствиях настоящего“.

Робеспьер, оставшийся полным господином в области политики после казни гебертистов и дантонов, пытался смягчить некоторые крайности террора, но у него не хватило ни умения, ни решимости идти в этом отношении против своих соратников по Комитету и твердым шагом встать на путь восстановления демократии. И в результате он кратчайшим путем пошел к собственной гибели и привел революцию, которой он искренно служил, к украшению.

Для того, чтобы продолжать управлять и держать в подчинении страну, надо было сказать какое-то новое слово, способное зажечь сердца и объединить их вокруг себя. Робеспьер сделал в этом направлении неудачную попытку, провозгласив культ Верховного Существа и династическую религию с официальными празднествами в честь этого нового божества. Попытка эта была неудачна и опасна, независимо от теоретической несостоятельности новой теории: она придавала религии государственный характер и этим пробуждала надежды контр-революционного духовенства и реакции вообще. Празднество в честь Верховного Существа носило казенный характер, без тени энтузиазма, и Робеспьер, шедший в кортеже, должен был почувствовать впервые свою отчужденность от революции и народа.

Ощущение этой отчужденности заставило теперь Робеспьера идти все дальше и дальше по пути террора. Ему, лишившемуся правильного политического глазомера и не знавшему, что делать, казалось, что стоит только истребить тех или других действи-

тельных или мнимых противников революции, чтобы открылась беспрепятственная возможность деятельности. И гильотина работала непрерывно, а количество подозрительных и подозреваемых, недовольных и усталых от режима террора с каждым днем увеличивалось. Эта политика безоглядного террора нашла себе выражение в прериальском законе, так формулировавшем задачи революционного трибунала: „Революционный трибунал учрежден для наказания врагов народа. Враги народа—те, кто стремится уничтожить общественную свободу силою или хитростью. Враги народа—те, кто призывают к восстановлению королевской власти или стремятся унизить или распустить Национальный Конвент и революционное и республиканское правительство; те, кто изменяет Республике в армии и на военном посту; те, кто пытается препятствовать продовольствованию Парижа или создает нужду в Республике; те, кто содействует планам врагов Франции, укрывая заговорщиков и аристократов или подкупая народных представителей, или применяя принципы Революции, законы и мероприятия правительства ложным и вероломным способом; те, кто обманывает народ или народных представителей, побуждая их к шагам, противным интересам свободы; те, кто стремятся сеять панику, чтобы помочь предприятиям тиранов, злоумышляющих против Республики; те, кто распространяет ложные слухи, чтобы разделить и смутить народ; те, кто стремится ввести в заблуждение общественное мнение и помешать образованию народа, развратить нравы и общественную совесть“.

И за эти, столь неопределенно и обще формулированные преступления закон устанавливал смертную казнь, при чем находил достаточным „для осуждения врагов народа наличие любого доказательства,—материального или морального, устного или письменного“; судьи должны судить и осуждать на основании своего внутреннего убеждения в виновности подсудимого; последний лишается права иметь защитников, так как „закон дает защитников оклеветанным патриотам, он не дает их заговорщикам“; при наличии материальных или моральных доказательств вины не допускаются никакие свидетельские показания. Словом, закон 22-го прериала превращал революционный трибунал в пародию суда, в простое орудие расправы над действительными и мнимыми заговорщиками.

С изданием этого закона дело Робеспьера было безнадежно проиграно. Им он обнаружил, что не в силах справиться со сложностью задач, стоящих перед революцией. Правда, Робеспьер надеялся, что, сконцентрировав террор, ему удастся в короткое время покончить со всеми врагами республики и тем подготовить возможность обходиться без применения террора, но это именно и было величайшим заблуждением.

Террор перестал устрашать, а между тем систематическое его применение порождало все большее недовольство политикой Робеспьера, которого стали обвинять в диктатуре. Революционная власть, в лице Комитета общественного спасения, потеряла все свое обаяние и доверие, которым она еще недавно пользовалась. Недовольные элементы оказывались теперь не только среди оставшихся в живых жирондистов и других умеренных и контр-революционных элементов. Они были и среди делегатов правительства в провинции, каждый день могущих попасть в опалу, и даже среди самих членов Комитета общественного спасения (Билльо-Варенна и Колло д'Эрбуа), возмущенных господствующей ролью в нем Робеспьера, и, наконец, среди членов Комитета общественной безопасности, который еще недавно был послушным орудием проведения террористической политики.

Все эти недовольные, несмотря на глубокие различия своих политических взглядов и целей, объединялись в своей ненависти к Робеспьеру, в отрицании диктатуры и в сознании необходимости свергнуть Робеспьера. Образовалась своего рода молчаливая антиробеспьеровская коалиция. Этой коалиции удалось в Конвенте провести закон, сводивший на нет все усилия Робеспьера,—закон, разрешавший арест членов Конвента только с согласия последнего. Благодаря этому закону из рук Робеспьера ускользали главные и наиболее опасные его враги, ему отдавались в жертву только второстепенные личности. После этого закона Робеспьер потерял интерес к революционному трибуналу, который продолжал однако механически действовать и за время с 22 прериала по 9 термидора — день падения Робеспьера—вынес максимальное количество приговоров.

Видя оппозицию своей политике внутри Комитета общественного спасения, Робеспьер перестал интересоваться его деятельностью и посещать его заседания; зато они и преданный

ему Сен-Жюст стали чаще появляться у якобинцев, где имели значительный круг сторонников; кроме того, они могли еще опираться на Парижскую Коммуну, руководители которой после казни гебертистов принадлежали к их сторонникам.

Новые блестящие победы революционных войск над армиями коалиции поднимали престиж Комитета, делавшегося неуязвимым для Робеспьера, и вместе с тем все больше убеждали в ненужности и нецелесообразности террора. Не решаясь и не желая действовать против своих врагов при помощи вооруженного восстания и надеясь на силу своего слова и умения гипнотизировать своих слушателей, он выступил 8 термидора в Конвенте с речью, в которой жаловался на раздающиеся против него несправедливые обвинения в диктатуре и грозил кучке „негодяев“, которая ведет против него интригу, не называя, впрочем, никого по имени и тем самым расплываясь в общих местах. Несмотря на некоторый успех, какой имела его речь, Конвент высказался против рассылки ее по департаментам. На следующий день 9 термидора битва возобновилась. Сен-Жюст, спешно вызванный с фронта, сделал попытку произнести примирительную речь, но противники перебивали его непрерывно. Во главе оппозиции выступил Билльо-Варенн, обвинивший Робеспьера в желании изгнать из Конвента всех своих противников. „Под нами разверзается пропасть, — говорил он, — не следует бояться заполнить ее трупами, в противном случае восторжествуют изменники“. Робеспьер попросил слова для возражений, но ему не дали говорить, прерывая его криками „долой тирана!“

Талльен потребовал ареста командующего национальной гвардией Анрио и непрерывных заседаний Конвента до тех пор, „пока меч закона не укрепит Революцию“, наконец, ареста Робеспьера, который „был раньше в Комитете общественного спасения защитником угнетенных, был раньше на своем посту, но в течение четырех последних декад оставил его и при этом тогда, когда северная армия вызвала у всех его коллег живое беспокойство. Он оставил свой пост, чтобы клеветать на Комитет“. Несколько раз Робеспьер пытался возражать, но ему этого не давали сделать, и Конвент постановил арестовать Робеспьера, его младшего брата, Сен-Жюста, Кутона и Леба. Однако смотрители тюрем отказались принять арестованных. Последние

оказались, таким образом, на свободе. Друзья предлагали Робеспьеру поднять восстание против Конвента, опираясь на якобинцев и Коммуну, но после некоторых колебаний он отказался от этого. Он не мог выступить против всего Конвента в целом, не поступаясь своими убеждениями, а на это он не был способен. А между тем его противники не теряли времени и возбуждали на улицах народ против тирана. Здание Коммуны, в котором находились Робеспьер и его друзья, было окружено толпой; Робеспьер и Кутон были ранены, Леба покончил самоубийством.

На следующий день — 10 термидора — арестованные были казнены под улюлюканье контр-революционеров и толп народа, уставшего от террора.

Оценивая людей и события прошлого с исторической точки зрения, приходится отмечать не только ошибки политических деятелей, но их положительные заслуги. Надо помнить, что Франции пришлось пережить целый век революций, многочисленные испытания, возвращение монархии, восстановление республики, чужеземные нашествия, расчленение, государственные перевороты и гражданские войны, чтобы притти, наконец, к упрочению Республики, законом установленной свободы благодаря всеобщему избирательному праву. Конечно, задача деятелей революции и демократии была с современной, социалистической точки зрения, ограниченной, но она была очень велика. Они укрепили идею демократии во всем ее объеме и доказали возможность самоуправления народа, породили во Франции и во всем мире стремление к свободе.

Современный социализм является во многих отношениях продолжателем Великой Революции. Конечно, последняя не ставила и не могла ставить вопрос о собственности так, как мы теперь его ставим. Тогда дело шло об укреплении частной собственности, как необходимой предпосылки свободы и прогресса. Но революция выдвинула во всей широте вопрос о демократии, а пролетариат и социализм, если они не хотят превратиться в секту, должны ставить своей задачей организацию всего народа, всей демократии. Политика демократии и политика социализма не противоречат, но взаимно дополняют друг друга. Вот почему социализм самым тесным и непосредственным образом примыкает к Революции.